



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Гоголь и черт

(Исследование)

Слышно страшное в судьбе наших поэтов.

Гоголь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Творчество

I

«Как черта выставить дураком», — это, по собственному признанию Гоголя, было главной мыслью всей его жизни и всего творчества. «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом». (Письмо Шевыреву из Неаполя от 27 апреля 1847 года).

В религиозном понимании Гоголя черт есть мистическая сущность и реальное существо, в котором сосредоточилось отрицание Бога, вечное зло¹. Гоголь как художник при свете смеха, исследует природу этой мистической сущности; как человек, оружием смеха борется с этим реальным существом: смех Гоголя — борьба человека с чертом.

Бог есть бесконечное, конец и начало сущего; черт — отрицание Бога, а следовательно, и отрицание бесконечного, отрицание всякого конца и начала; черт есть начатое и неоконченное, которое выдает себя за безначальное и бесконечное; черт — нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин — вечная плоскость, вечная *пошлость*. Единственный предмет гоголевского творчества и есть черт именно в этом смысле, то есть как явление «бессмертной пошлости людской»², созерцаемое за всеми условиями местными и временными — историческими, народными, государственными, общественными, — явление безусловного, вечного и всемирного зла; пошлость *sub specie aeterni*, «под видом вечности».

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя

не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей» (*Из переписки с друзьями, XVIII, 3*). Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий; Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилье, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы *дифференциальное исчисление*³, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла. Первый он понял, что черт и есть самое малое, которое лишь вследствие нашей собственной малости кажется великим, — самое слабое, которое лишь вследствие нашей собственной слабости кажется сильным. «Я называю вещи, — говорит он, — прямо по имени, то есть черта называю чертом, не даю ему великолепного костюма à la Байрон и знаю, что он ходит во фраке...» «Дьявол выступил уже без маски в мир: он явился в своем собственном виде». Главная сила дьявола — уметь казаться не тем, что он есть. Будучи серединою, он кажется одним из двух концов — бесконечностей мира, то Сыном-Плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшим на Сына-Плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи темным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, кажется смеющимся. Смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера, свобода Сверхчеловека — вот различные в веках и народах «великолепные костюмы», маски этого вечного раздражителя, приживальщика, обезьяны Бога. Гоголь первый увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычностью, а обыкновенностью, пошлостью; первый понял, что лицо черта есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, вообще реальное «человеческое, слишком человеческое»⁴ лицо, лицо толпы, лицо «как у всех», почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собою и соглашаемся быть «как все».

Два главных героя Гоголя — Хлестаков и Чичиков — суть два современных русские лица, две ипостаси вечного и всемирного зла — «бессмертной пошлости людской». По слову Пушкина: *То были двух бесов изображенья*⁵.

Вдохновенный мечтатель Хлестаков и положительный делец Чичиков — за этими двумя противоположными лицами скрыто соединяющее их третье лицо, лицо черта «без маски», «во фраке», в «своем собственном виде», лицо нашего вечного двойника, который, показывая нам в себе наше собственное отражение, как в зеркале, говорит: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!»

II

«Вы эту скотину (черта) бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он щелкопер и весь состоит из надуванья. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и поддаться назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он черт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти*. Пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело». Легко догадаться, кто именно этот «мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие, то есть в качестве ревизора, распекающий всех». В черновых заметках к «Мертвым душам» Гоголь пишет: «Весь город со всем вихрем сплетен; прообразование бездельности (то есть пошлости) жизни всего человечества в массе... Как низвести всемирную картину безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразованья безделья мира». И так, опять-таки по собственному признанию Гоголя, в обоих величайших произведениях его — в «Ревизоре» и «Мертвых душах» — картины русского провинциального города 20-х годов имеют, кроме явного, некоторый тайный смысл, вечный и всемирный, но «прообразующий», или, как мы теперь сказали бы, *символический*, ибо символ и значит «преобразование»: среди «безделья», пустоты, пошлости мира человеческого не человек, а сам черт, «отец лжи», в образе Хлестакова или Чичикова, плетет свою вечную, всемирную «сплетню»⁶. «Я совершенно убедился в том, что сплетня плетется чертом, а не человеком, — пишет Гоголь

в частном письме по поводу частного дела. — Человек от праздности и сглупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать (не так ли именно Бобчинский и Добчинский брякнули слово «ревизор»?). Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое; и мало-помалу сплетется сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь... Не обвиняйте никого... Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле... Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия *ревизовать* Тот, Кого ничем не подкупишь». (Письмо к Н. Ф. из Москвы от 6 декабря 1849). Не дан ли здесь полный, не только понятный всем, реальный, но и до сей поры никем, кажется, не понятный, мистический замысел «Ревизора»?

В Хлестакове, кроме реального человеческого лица, есть «призрак». «Это фантазмагорическое лицо, — говорит Гоголь, — которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда». Герой «Шинели», Акакий Акакиевич, точно так же, как Хлестаков, только не при жизни, а после смерти своей, становится призраком — мертвецом, который у Калинкина моста пугает прохожих и стаскивает с них шинели. И герой «Записок сумасшедшего» становится лицом фантастическим, призрачным — «королем испанским Фердинандом VIII». У всех троих исходная точка одна и та же: это — мелкие петербургские чиновники, обезличенные клеточки огромного государственного тела, бесконечно малые дробы бесконечно великого целого. Из этой-то исходной точки — почти совершенного поглощения живой человеческой личности мертвым безличным целым — устремляются они в пустоту, в пространство, и описывают три различные, но одинаково чудовищные параболы: один — во лжи, другой — в безумии, третий — в суеверной легенде. Во всех трех случаях личность отомщает свое реальное отрицание; отказываясь от реального, мстит призрачным, фантастическим самоутверждением. Человек старается быть не тем, что есть, потому что не хочет, не может, не должен быть ничем. И в мертвом лице Акакия Акакиевича, и в сумасшедшем лице Поприщина, и в лживом лице Хлестакова сквозь ложь, безумие и смерть мелькает нечто истинное, бессмертное, сверхразумное, что есть во всякой человеческой личности и что кричит из нее к людям, к Богу: я — один, другого подобного мне никогда нигде не было

и не будет, я сам для себя все, — «я, я, я!» — как в исступлении кричит Хлестаков.

В качестве реальной величины в государстве Хлестаков — ничтожество, «один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими». Собственный лакей его, дурак и плут Осип, презирает барина: «Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой». Он, однако, сын дворянина, старосветского помещика из глубины России. Но никакой связи со своим родом, народом, землею он не сохранил. Он весь до мозга костей — петербургский безземельный «пролетарий», безродный, искусственный человек — гомункул, выскочивший из «петровской табели о рангах», как из алхимической склянки. Люди прошлого, подобные отцу его, для него — варвары, почти и не люди, «они, пентюхи, и не знают, что такое значит “прикажете принять”». К ним, если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, в гостиную». Отрицание, впрочем, обоюдное: «батюшка присылает ему денежки»; но если бы узнал он, как живет сынок в Петербурге: «делом не занимается — вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по пришкепту, в картишки играет», то, по выражению Осипа, «не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, подняв рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почесывался».

Как личность умственная и нравственная, Хлестаков отнюдь не полное ничтожество. «Хлестаков, — определяет Гоголь, — есть человек ловкий, совершенно *comme il faut*, умный, даже, пожалуй, добродетельный», — ну, конечно, не слишком умный и добродетельный, но зато и не слишком глупый и злой. У него самый обыкновенный ум, самая обыкновенная — общая, легкая, «светская совесть». В нем есть все, что теперь в ход *пошло* и что впоследствии окажется *пошлым*. «Одет по моде», и говорит, и думает, и чувствует по моде. «Он принадлежит к тому кругу, который, по видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей», — замечает Гоголь. Он как все: и ум, и душа, и слова, и лицо у него как у всех. В нем, по глубокому определению опять-таки самого Гоголя, *ничего не означено резко*, то есть определенно, окончательно, до последнего предела, до конца. Сущность Хлестакова именно в этой неопределенности, неоконченности. «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли» — не способен сосредоточить, довести до конца ни одну из своих мыслей, ни одно из своих чувств. Он, как выражается черт Ивана Карамазова,

«потерял все свои концы и начала»; он — воплощенное отрицание всех концов и начал, воплощенная нравственная и умственная *середина*, посредственность.

Но главные силы, которые движут и управляют им, — не в общественной и не в умственной или нравственной личности, а в безличном, бессознательном, стихийном существе его — в инстинктах. Тут прежде всего слепой животный инстинкт самосохранения — неимоверный волчий голод: «Так хочется есть, как еще никогда не хотелось... Тьфу, даже тошнит...» Это не простой мужичий голод, который насыщается хлебом насущным, а благородный, господский. В праве на удовлетворение этого голода Хлестаков сознает себя в высшей степени баринном: «Ты растолкуй ему (хозяину гостиницы) серьезно, что мне *нужно есть*... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поест день, так и другим то же. Вот новости!» Есть хочется, нужно есть — это уж нечто безусловное, бесконечное в существе Хлестакова, — во всяком случае это его естественный конец и начало, его первая и последняя правда.

Природа, наделив его такую потребностью, вооружила и особою силою для ее удовлетворения — силою лжи, притворства, уменья казаться не тем, что он есть. И эта сила у него опять-таки не в уме, не в воле, а в глубочайшем бессознательном инстинкте. Некоторые насекомые формою и окраскою тел с точностью до полного обмана даже человеческого зрения воспроизводят форму и окраску мертвых сучков, увядших листьев, камней и других предметов, пользуясь этим свойством как оружием в борьбе за существование, дабы избегать врагов и ловить добычу. В Хлестакове заложено природою нечто подобное этой первозданной, естественной лжи или мимике лицедейства. В устах его ложь есть вечная «игра природы». Язык его лжет так же произвольно, неудержимо, как сердце бьется, легкие дышат. «Хлестаков лжет, — говорит Гоголь, — вовсе не холодно или фанфаронски-театрально! он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая *поэтическая* минута его жизни — почти *род вдохновения*». Ложь Хлестакова имеет нечто общее с творческим вымыслом художника⁷. Он опьяняет себя своею мечтою до полного самозабвения. Меньше всего думает о реальных целях, выгодах. Это ложь бескорыстная — ложь для лжи, искусство для искусства. Ему в эту минуту ничего не надо от слушателей: только бы они поверили. Он лжет невинно, бесхитростно и первый сам себе верит, сам себя обманывает — в этом

тайна его обаяния. Он лжет и чувствует: это хорошо, это правда. *То, чего нет*, для него, как для всякого художника, прекраснее и потому правдивее самой правды. Он весь горит и трепещет, как бы от священного восторга. Тут какая-то нега, сладострастие лжи. Если бы стали обличать его, он сначала просто не понял бы, а потом с чувством высшей поэтической правды и правоты презрел бы столь грубую, низменную точку зрения. Беззащитно и беззлобно огорчился бы, как обиженный ребенок, как оскорбленный чернью поэт. Недаром утверждает Гоголь, что одно из главных свойств Хлестакова — «чистосердечие и простота». У этого гения лжи, как у всякого истинного гения, — почти детская простота и ясность. Тот Хлестаков, который берет взятки у обманутых им чиновников с такую бесстыдную наглостью, — уже совсем другой человек: поэт исчез, вдохновение потухло:

Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он⁸.

С ложью связано в нем другое столь же первозданное, стихийное свойство. «У меня, — признается он, — *легкость в мыслях необыкновенная*». Не только в мыслях, но и в чувствах, в действиях, в словах, даже в «тоненьком, худеньком теле», во всем существе его «необыкновенная легкость»: весь он точно «ветром подбит», едва земли касается, — вот-вот вспорхнет и улетит. Для него и в нем самом нет ничего трудного, тяжелого и глубокого — никаких задержек, никаких преград между истиной и ложью, добром и злом, законным и преступным; он даже не «преступает», а перелетает благодаря этой своей окрыляющей легкости через «все черты и все пределы». Величайшие мысли человечества, которые давят его целые века своею тяжестью, попадая в голову Хлестакова, становятся вдруг легче пуха. Вот, например, одна из главных мыслей XVII и XVIII века, Монтеня, Гоббса, Жан Жака Руссо — мысль об «естественном состоянии», о возврате человека в природу. Когда Хлестаков признается в любви жене городничего, та отвечает ему с робким недоумением: «Но позвольте заметить, я в некотором роде... я замужем». «Это ничего, — возражает Хлестаков. — Для любви нет различия: и Карамзин сказал: “Законы осуждают”. Мы удалимся под сень струй»... Это значит, человеческие законы осуждают нашу свободную любовь, но мы

уйдем от людей в природу, где царствуют иные вечные законы. От древнегреческой идиллии Дафниса и Хлои, которые тоже были счастливы «под сенью струй», до чувствительных романов XVIII века, до пастушеских сцен во вкусе Ватто, Буше⁹ и через Карамзина до Хлестакова — какой неимоверный путь прошла человеческая мысль и во что она превратилась! А вот и другая сторона этой же самой мысли о противоположности природы и человека, естественного и культурного состояния: «Деревня, впрочем, имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право!» Точно так же соблазны культуры понимает и лакей Осип: «Жизнь тонкая и политичная; кеатры, собаки тебе танцуют, и все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности... Галантерейное, черт возьми, обхождение!»

Эпикурейское вольнодумство, возрожденная языческая мудрость, принцип «жизнью пользуйся, живущий!»¹⁰ — сокращается у Хлестакова в изречение новой положительной мудрости: «*Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия*». Как просто, как общедоступно! Это освобождение от всех нравственных уз не превратится ли впоследствии в ницшеанское, карамазовское: «нет добра и зла, все позволено»? И здесь, и там — одно начало: крылья орла и крылья мошки борются с одними и теми же законами всемирного тяготения.

Это — язычество; а вот и христианство, — тоска по неземной отчизне, «идеализм» Хлестакова, — из письма его к приятелю Тряпичкину: «Прощай, душа Тряпичкин... Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков всеобъемлющий круг его созерцания: все, что имеет три измерения, приводит он к двум или к одному — к совершенной плоскости, пошлости; потому все это и в ход пошло, что так пошло. Он сокращает всякую мысль до последней степени краткости, облегчает ее до последней степени легкости, отбрасывает ее конец и начало, оставляя одну лишь бесконечную малую, самую серединную точку, — и то, что было вершиною горного кряжа, становится пылинкою, носимую ветром по большой дороге. Нет такого благородного чувства, такой глубокой мысли, которые не могли бы, стершись, выветрившись благодаря этому хлестаковскому гению соращения, облегчения, сделаться серою пылью.

Дух его родствен духу времени. «*Я литературой существую*», — говорит Хлестаков, и это не ложь, а глубокое признание. Он друг

не только Тряпичкина, Булгарина, Сенковского, Марлинского, но и самого Пушкина, камер-юнкера, которому в лице какого-нибудь модного, великосветского хлыща, совершенного *somme il faut*, одного из бесчисленных однодневных приятелей Александра Сергеевича, «доброе малого», пожимает руку на придворных балах со снисходительной развязностью: «Ну, что, брат?» — «Да так, брат, — отвечал, бывало, тот. — Так как-то все»... «Большой оригинал!» И ведь уж, конечно, та сплетня, от которой Александр Сергеевич погиб, обошлась не без участия Ивана Александровича Хлестакова. Пушкин погиб, а Хлестаков процветает. Дух его сказывается не только в романтических «кровавых незабудках» начала XIX века, но и в нашей современной декадентской резвости, в нашей ницшеанской дерзости, за которые здравый смысл, как старый барин, если бы узнал, в чем дело, не посмотрел бы на то, что ты декадент или ницшеанец, а «поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почесывался». «Я им всем поправлял стихи, — мог бы сказать Хлестаков и о новейших поэтах, — моих много есть сочинений — уж и названий даже не помню». Стоит прислушаться к приятелю Тряпичкину: «Прощай, душа Тряпичкин... Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков всеобъемлющий круг его созерцания: все, что имеет три измерения, приводит он к двум, к опере — точной музыке, этому *Leit — Motiv*'у прошлого века, так назойливо заглушающему Бетховена и Вагнера, чтобы почувствовать бессмертного Хлестакова, которому пессимизм XIX столетия ничуть не помешал «срывать цветы удовольствия». «Я ведь тоже разные водевильчики»... Стоит зайти в любой театр, чтобы убедиться, что и в наши дни театральные дирекции говорят своему доброму приятелю Ивану Александровичу: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все написал». Стоит заглянуть в любую сегодняшнюю газету, чтобы из мнений о пользе велосипедного спорта и свободы совести, о прелестях Кавальери и Венеры Милосской, из предсказаний погоды и будущности России так и пахло на нас «необыкновенною легкостью в мыслях». Тут именно, в современной печати, в гласности, с каждым днем все растет и растет Хлестаков. Теперь более чем когда-либо мог бы он сказать не хвастая: «Я литературой существую», и литература существует мною. «И газетный листок, — ужасается Гоголь, —

становится нечувствительно законодателем его неуважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые, видите, в виду всех чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» Эта исходящая снизу нечистая сила и есть, конечно, сила Хлестакова, который уже не только в литературе, но и на страницах всемирной истории, от Парижа до Пекина, от Лондона до Трансвааля, пишет свои «водевильчики», сплетает свою сплетню.

И все растет, растет, как туманное видение, как фата-моргана. Выше, выше, excelsior! — это бранный клич Хлестакова, клич современного прогресса. «Один раз я даже управлял департаментом». Это ложь? Едва ли. Может быть, он действительно с тех пор не раз управлял многими департаментами. Может быть, и в наши дни его упрасивают: «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять». — «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, так и быть, только уж у меня: ни, ни, ни! Уж у меня ухо остро! уж я...» «Меня сам государственный совет боится». Может быть, и в наши дни, когда вечно юный Хлестаков проходит через либеральнейший из департаментов, «просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист». И если не тридцать пять тысяч курьеров, то поезда-молнии, телеграфы, телефоны все еще служат ему. Кто из нас не слышал над собой его начальнического окрика: «О, я шутить не люблю; я им всем задам острастку!» Но выше, выше, excelsior!

Привидение растет, мыльный пузырь надувается, играя волшебной радугой. «Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». «Я везде, везде». Вот нуменальное слово; вот уже лицо черта почти без маски: он вне пространства и времени, он вездесущ и вечен. «Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...» (поскальзывается и чуть-чуть не падает на пол, но с почтением поддерживается чиновниками).

До чего бы дошел он, если бы не поскользнулся? Назвал ли бы себя, как всякий самозванец, — самодержцем? А может быть, в наши дни не удовольствовался бы и царственным, никаким вообще человеческим именем и уже прямо назвал бы себя «сверхчеловеком», «Человекобогом»: сказал бы то, что у Достоевского черт советует сказать Ивану Карамазову: «Где станет Бог — там уже место Божие; где стану я, там сейчас же будет первое место — и все

позволено». Ведь это Хлестаков почти и говорит, по крайней мере, хочет сказать, а если не умеет, то только потому, что слов таких еще нет: «Я сам себя знаю, сам... я, я, я »... От этого иступленного самоутверждения личности один только шаг до самообожествления, которое в больной голове Поприщина дает сумасшедший, но все еще сравнительно скромный вывод: «Я король испанский Фердинанд VIII», а в метафизической голове Ницше и нигилиста Кириллова, героя «Бесов», — уже окончательный, насколько более величественный, вывод: «Если нет Бога, то я — Бог!»

Недаром бедные чиновники уездного городка подавлены как бы «сверхчеловеческим» величием Хлестакова. «Генерал» это ведь для них и значит — почти «сверхчеловек». «Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?» — «Я думаю, чуть ли не генерал». — «А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус!.. Вот это, Петр Иванович, человек-то! — заключает Бобчинский. — Вот оно, что значит человек!» А уничтоженный Артемий Филиппович Земляника только лепечет, дрожа и бледнея: «Страшно просто. А отчего — и сам не знаешь». И действительно, по сцене проносится как бы дыхание какого-то сверхъестественного ужаса.

Зрители смеются и не понимают страшного в смешном, не чувствуют, что они, может быть, обмануты еще больше, чем глупые чиновники. Никто не видит, как растет за Хлестакова исполинский призрак, тот, кому собственные страсти наши вечно служат, которого они поддерживают, как поскользнувшегося ревизора — чиновники, как великого Сатану — мелкие черти. Кажется, и донныне никто не увидел, не узнал его, хотя он уже является «в своем собственном виде», без маски или в самой прозрачной из масок, и бесстыдно смеется людям в глаза и кричит: «Это я, я сам! Я — *везде, везде!*»

III

Ежели не зрители, то действующие лица чувствуют какую-то ошеломляющую сонную мглу, фантастическое марево черта. «Со мной чудеса», — с лукавым простодушием говорит сам Хлестаков в письме к Тряпичкину. «Что за черт!» — недоумевает Городничий, «протирая глаза», словно просыпаясь. И перед самую катастрофою, уже проснувшись: «До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум».

«Уж как это случилось, — изумляется Артемий Филиппович, беспомощно “расставив руки”, — хоть убей, не могу объяснить. *Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал*». «Неестественная сила побудила, — объясняет Почтмейстер душевное состояние, в котором находился, распечатывая письмо мнимого Ревизора, — словно бес какой шепчет: “Распечатай, распечатай, распечатай!” И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-Богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось». «Что ж он, по-вашему, такое?» — спрашивает Городничий о Хлестакове. «*Ни се ни то*; черт знает что такое!» — нечаянно определяет Почтмейстер самую внутреннюю мистическую сущность духа Вечной Середины. Если бы не умчался Хлестаков на тройке своей, не рассеялся призраком в им же напущенном «тумане», то Городничий мог бы спросить его, как в другой комедии Гоголя спрашивает плут плута: «Да ты кто? *черт ты!* говори, кто ты?» И тот ответил бы ему почти такими же словами, как он действительно отвечает у Гоголя и как у Достоевского подлинный черт мог бы ответить Ивану Карамазову: «Да, кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом». «Проходит страшная мгла жизни, — пишет Гоголь в одной из своих “заметок на лоскутках”, — и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление — жизнь без опоры прочной? не страшно ли великое она явление? Так — слепа...» В этой страшной мгле ослепшие люди блуждают и кажутся друг другу привидениями. «Ничего не вижу, — стонет Городничий, ошеломленный туманом. — Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». «Вспомните *Египетские Тьмы*¹¹, — объясняет Гоголь по другому поводу в статье “Страхи и ужасы России”, — это марево черта. Слепая ночь обняла их вдруг, среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погибли, кроме одного страха».

И вот «явление последнее», не только в обыкновенном, сценическом, но и в более глубоком, символическом смысле — «последнее явление», видение, которым кончается все, — «*Те же и Жандарм*»: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе». Произнесенные слова поражают как громом всех. И далее страшная «немая сцена» — окаменение ужаса. Мы должны верить, по замыслу Гоголя, что этот петербург-

ский чиновник, являющийся, как «бог из машины», как ангел в средневековых мистериях, есть подлинный. Ревизор — воплощенный рок, совесть человеческая, правосудие божеское. Мы, однако, не видим его; он остается для нас еще более, чем Хлестаков, лицом фантастическим, призрачным. Но если бы мы увидели его, кто знает, не оказалось ли бы странное сходство между двумя «чиновниками из Петербурга», большим и маленьким, не мелькнуло ли бы в грозном лице этого будто бы истинного Ревизора знакомое лицо человека светского, гораздо высшего полета, чем Иван Александрович, но столь же ловкого, «совершенного *comme il faut*, умного, даже, пожалуй, добродетельного» и вместе с тем такого, который решительно «ничем не отличается от прочих», от всех? В его начальническом окрике, когда примется он распекать с высоты непогрешимого будто бы правосудия своего младших братьев, бедных уездных чиновников, не прозвучит ли знакомый, только что слышанный окрик: «Уж у меня: ни, ни, ни! Уж у меня ухо остро!.. О, я шутить не люблю, я вам всем задам острастку!»? Что, если в образе второго Ревизора возвращается, совершив один из своих вечных кругов, первый, только что умчавшийся Иван Александрович, в качестве Хлестакова высшего полета, в новом и окончательном последнем явлении своем? «По повелению из Петербурга» — вот что оглушает «как громом» всех, не только действующих лиц и зрителей, но, кажется, и самого Гоголя. Повеление из Петербурга? Но откуда же, как не из Петербурга — этого самого призрачного, туманного, «фантастического из всех городов земного шара», ползет и расстилается по всей России тот ошеломляющий «туман», та страшная мгла жизни, «египетские тьмы», чертово марево, в которых «ничего не видно, видны какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». Оба ревизора, первый и второй, простой «елистратишка» и настоящий «генералиссимус», не одинаково ли законные дети одной и той же «табели о рангах», не плоды ли одного и того же «петербургского периода» русской истории? Да и весь этот чудовищный уездный город не часть ли великого всероссийского «Града», гражданства, не отражение ли крошечное, обратное, но совершенно точное, как в капле воды, самого Петербурга? Петербург создал, вызвал из небытия этот город. По какому же праву, с какой высоты будет он судить и казнить его? В самом Петербурге гоголевских времен что, собственно, произошло такого, что могло бы разразиться над этим маленьким Содомом не как хлестаковский, а действительно

Божий гром, что могло бы явиться среди этих «свиных рыл» не как лицо жандарма, все-таки похожее отчасти на лицо Держиморды, а как действительно человеческое лицо божеского правосудия? Нет, «Ревизор» не кончен, не признан до конца самим Гоголем и не понят зрителями; узел завязки развязан только условно, сценически, но отнюдь не реально, не религиозно. Одна комедия кончена, начинается или должна бы начаться другая, высшая, насколько более смешная и страшная. Мы ее так и не увидим на сцене; но и до сей поры разыгрывается она за сценою, в жизни, действительности. Это, впрочем, сознает отчасти и Гоголь. «*Ревизор*» — *без конца*», — говорит он. Мы могли бы прибавить: «Ревизор» — бесконечен. Это смех не какой-либо частный, временный, исторический, а именно бесконечный и вечный смех русской совести над русским современным «Градом».

«В итоге, — говорит опять сам Гоголь устами одного из лиц в развязке “Ревизора”, — в итоге остается что-то этакое... я вам даже объяснить не могу, — что-то *чудовищно-мрачное*, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появление жандарма, который является в дверях, это окаменение, которое наводят на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен их истребить с лица земли, уничтожить вконец — все это *как-то необыкновенно страшно*».

Почему, в самом деле, это так страшно? Не заключает ли в себе и это окаменение, как все в «Ревизоре», какого-то глубокого «образующего смысла».

«Эй, вы, залетные!» — слышен за сценою голос ямщика в конце четвертого действия. «Колокольчик звенит», тройка мчится, и Хлестаков, «фантазмагорическое лицо, как олицетворенный обман, уносится вместе с тройкой Бог весть куда». Эта тройка Хлестакова напоминает тройку Поприщина: «Дайте мне тройку быстрых, как вихрь, коней! садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего». Точно так же и Хлестаков уносится на тройке своей в неопределенное пространство, в пустоту, в небытие, из которых он вышел, сам воплощенное небытие и пустота, — в ничто. И между тем как все реальное, существующее, прошлое и настоящее перед неизбежным «последним явлением» мистического Держиморды замерло в неподвижности, окаменело в бессмысленном ужасе, — один только призрачный Хлестаков, с «необыкновенною легкостью в мыслях», в веч-

ном движении несется в неизмеримые пространства будущего. «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит». Вперед, вперед! Excelsior! Что значит, говоря словами Гоголя, «это наводящее ужас движение», с одной стороны, и эта наводящая ужас неподвижность — с другой? Неужели окаменевший русский «Град», без железных цепей скованный «египетской тьмой», — это вся старая и современная Россия; а летящий куда-то к черту Хлестаков — это Россия новая? Каменная тяжесть, призрачная легкость, реальная пошлость настоящего, фантастическая пошлость грядущего, и вот два одинаково плачевные конца, два одинаково страшные пути России к «черту», в пустоту, в «нигилизм», в ничто. И в этом смысле какую ужасную, неожиданную для самого Гоголя насмешкою звучит его сравнение России с несущейся тройкою: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик. («Звени, мой колокольчик», — бредит Поприщин; в четвертом действии «Ревизора» «колокольчик звенит».) Летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Безумный Поприщин, остроумный Хлестаков и благообразный Чичиков — вот кого мчит эта символическая русская тройка в своем страшном полете в необъятный простор или необъятную пустоту. «Горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя... Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» Увы, на этот вопрос беспощадно ответил вещей смех Гоголя? Как исполинские видения, как «дряхлые страшилища с печальными лицами», предстали ему только два «героя нашего времени», два «богатыря», рожденные необъятным русским простором, — Хлестаков и Чичиков.

IV

В Хлестакове преобладает начало движения, «прогресса»; в Чичикове — начало равновесия, устойчивости. Сила Хлестакова в лирическом порыве, опьянении; сила Чичикова — в разумном спокойствии, трезвости. У Хлестакова «необыкновенная легкость», у Чичикова необыкновенная вескость, основательность в мыслях. Хлестаков — созерцатель; Чичиков — деятель. Для Хлестакова все желанное — действительно; для Чичикова все

действительное — желанно. Хлестаков — идеалист; Чичиков — реалист. Хлестаков — «либерал»; Чичиков — «консерватор». Хлестаков — «поэзия»; Чичиков — «правда» современной русской действительности.

Но, несмотря на всю эту явную противоположность, тайная сущность их одна и та же. Они — два полюса единой силы; они — братья-близнецы, дети русского *среднего* сословия и русского XIX века, самого срединного, буржуазного из всех веков; и сущность обоих — вечная середина, «ни то, ни се» — совершенная пошлость. Хлестаков утверждает то, чего нет, Чичиков — то, что есть, — оба в одинаковой пошлости. Хлестаков замышляет, Чичиков исполняет. Фантастический Хлестаков оказывается виновником самых реальных русских событий, так же, как реальный Чичиков виновником самой фантастической русской легенды о «Мертвых душах». Это, повторяю, два современные русские лица, две ипостаси вечного и всемирного зла — черта.

«Справедливее всего, — замечает Гоголь, — назвать Чичикова — *хозяин, приобретатель*. Приобретение — вина всего».

«— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы *приобрели*, — говорит председатель после совершения купчей крепости на мертвые души.

— Приобрел, — говорит Чичиков.

— Благое дело! право, благое дело!

— Да, я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. *Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердою стопой на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности*».

Не выражает ли тут устами Чичикова вся европейская культура XIX века свою самую внутреннюю сущность? Высший смысл жизни, последняя цель человека «не определена» на земле. Конец и начало мира непознаваемы; только середина — мир явлений — доступна познанию, чувственному опыту, а следовательно, и реальна. Единственное и окончательное мерило для оценки всего есть прочность, основательность, «позитивность» этого чувственного опыта, то есть обыкновенной, «здоровой» — *средней* человеческой чувственности. Все философские и религиозные чаяния прошлых веков, все их порывы к безначальному и бесконечному, сверхчувственному — суть, по кантовскому определению, только «метафизические» и «теологические» бредни, «вольнодумные химеры юности». Но герой наш (герой нашего времени, как и само

время) уже был *средних* лет и осмотрительно охлажденного характера. Он задумался «*положительнее*», то есть «*позитивнее*». И вот главная позитивная дума Чичикова и есть именно дума о том, как бы отвергнуть все, что кажется ему «химерою», обманчивым призраком бесконечного, безусловного, «стать твердою стопой на прочное основание» условного, конечного, относительного, единственного, будто бы реального. «Но замечательно, — прибавляет Гоголь, — что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он себе “Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!”» Да, в глубине чичиковского «позитивизма» такое же всемирное «вранье», как в глубине хлестаковского идеализма. Желание Чичикова «стать твердою стопой на прочное основание» — это именно то, что теперь в ход *пошло*, а потому — *пошло*, как, впрочем, и желание Хлестакова «заняться, наконец, чем-нибудь высоким». Оба они только говорят и думают «как все»; а в сущности ни Чичикову нет никакого дела до «прочных» основ, ни Хлестакову — до горных вершин бытия. За консервативною основательностью у одного скрывается такая же «химера», пустота, ничто, как за либеральной «легкостью мыслей» — у другого. Это не два противоположные конца и начала, не две безумные, но все-таки честные крайности, а две «бесчестные, потому что слишком благоразумные» середины, две одинаковые плоскости и пошлости нашего века.

Ежели нет в человеческой жизни никакого определенного смысла, высшего, чем сама эта жизнь, то нет для человека на земле и никакой определенной цели, кроме реальной победы в реальной борьбе за существование. «Так есть хочется, как еще никогда не хотелось!» — это бессознательный, стихийный вопль Хлестакова, «голос природы», становится сознательною, общественно-культурною мыслью у Чичикова мыслью о приобретении, о собственности, о капитале. «Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Копейка не выдаст... Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Вот завет отца и всего духовного отечества Чичикова — XIX века. Вот самая «позитивная» мысль самого «позитивного» из всех веков, с его пронизавшим насквозь всю культуру промышленно-капиталистическим, буржуазным строем; вот единственно будто бы «прочное основание», найденное ежели не в отвлеченном созерцании, то в жизненном действии и противопоставляемое всем «химерам» прошлых веков. Тут нет, конечно, правды божеской; зато есть «человеческая, слишком

человеческая» правда, может быть, отчасти даже оправдание. Сила денег для Чичикова вовсе не грубая, внешняя, а внутренняя сила духа, мысли, воли, своего рода бескорыстия, героизма, самопожертвования. Когда князь, приехавший тоже, как и второй Ревизор, «по именному повелению из Петербурга», в присутствии двух дюжих жандармов распекает Чичикова: «С сей же минуты будешь отведен в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей!» «Я человек, ваше сиятельство! — возражает Чичиков. — Кровью нужно было добывать насущное существование... Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку, трудами, трудами, не то чтобы кого ограбил или казну обворовал, как делают... Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное?.. Ведь сколько нужно было побороть, сколько вынести! ведь всякая копейка выработана, так сказать, всеми силами души!..» В мысли о деньгах заключено для него нечто безусловное, как бы даже бесконечное, почти религиозное. «Шкатулка! — раздирающим душу голосом вопит он в тюрьме перед тем, как разорвать на себе фрак “наваринского пламени с дымом”. — Шкатулка! Ведь там все имущество... Все украдут, разнесут! О, Боже!» Эта таинственная шкатулка для него новый «ковчег завета».

Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот, подлинным, не только комическим, но и трагическим героем, «богатырем» своего времени. «Назначение ваше — быть великим человеком», — говорит ему Муразов. И это отчасти правда: Чичиков так же, как Хлестаков, все растет и растет на наших глазах. По мере того как мы умалеемся, теряем все свои «концы» и «начала», все «вольнодумные химеры», наша благоразумная середина, наша буржуазная «положительность», Чичиков, кажется все более и более великою, даже прямо бесконечною.

V

«Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в *довольстве* прожить остаток дней; оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству. Вот для чего хотел приобрести!» «В нем, — говорит Гоголь, — не было привязанности собственно к деньгам для денег, им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди

жизнь во всех *довольствах*, со всеми *достатками*: экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкушать непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупой отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо него богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и *довольством*, производило на него впечатление, непостижимое им самим». Так называемый «комфорт», то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покоренные наукою силы природы — звук, свет, пар, электричество, — все изобретения, все искусства, — вот последний венец земного рая для Чичикова. «*Пуще всего в покойном довольстве жить любите, — это пуще всего-с*», — определяет лакей Смердяков барину Ивану Карамазову его глубочайшую духовную сущность. Не восторг, не роскошь, не опьянение, не последний предел счастья, — а лишь срединное благополучие, умеренная сытость духа и тела, «спокойное довольство» — вот затаенная мечта, которая соединяет Ивана Карамазова, трагического героя, с героем комическим, Чичиковым, через Смердякова.

«Вы, как Федор Павлович (то есть отец Карамазова), — говорит Ивану Смердяков (Вы, как Павел Иванович, мог бы он сказать с еще большим правом), — наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с». Бунт Ивана, сверхчеловеческая гордыня, с которою он восклицает: «Все позволено; если нет Бога, то я — Бог!» — это все еще «вольнодумная химера юности», хлестаковская «легкость в мыслях», то есть все-таки более или менее «вранье» или самообман. Но Хлестаков устанет врать, буря утихнет, волны улягутся, и обнаружится вновь *средний* уровень века, его нуменальная срединность, его несокрушимая плотина — «прочное основание»: «пуще всего в покойном довольстве жить». И даже в страшном лице Великого Инквизитора мелькает знакомое лицо не только отца Федора Павловича, но и деда Павла Ивановича. И антихристово царство, противопоставляемое Великим Инквизитором царству Христову — эти «тысячи миллионов счастливых младенцев», умеренная сытость, «спокойное довольство» всего человечества в комфортабельных «алюминиевых дворцах»,

в вавилонской башне социал-демократии есть не что иное, как царство Чичикова, всемирного и вечного Чичикова *sub specie aeterni*, ибо царство его и есть именно царство «от мира сего»: в Чичикове, — говорит Гоголь, — было *«все, что нужно для этого мира»*.

VI

Вместо блаженства — благополучие, вместо благородства — благоприличие, то есть внешняя, условная добродетель, ибо для Чичикова, как для истинного позитивиста, нет ни в добре, ни во зле ничего безусловного. Так как единственная определенная цель и высшее благо человека на земле есть «спокойное довольство», а единственный путь к нему приобретение, то вся нравственность и подчиняется этой цели и этому благу, ибо «если уж избрана цель — нужно идти напролом». «Вперед, вперед! Excelsior!» — этот бранный клич современного прогресса — клич не только Хлестакова, но и Чичикова. «Покривил, не скрою, покривил... что ж делать? — сознается он однажды в минуту отчаяния. — Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь и что косою дорогою больше напрямик». «Чему я всем обязан? — мог бы ответить за Чичикова герой “Игроков”. — Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство... Ну, положим, — плутовство. Да ведь необходимая вещь — что ж можно без него сделать?.. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак, проживет всякий, это не штука; но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обманутым самому — вот настоящая задача и цель!» Если бы это говорил не жалкий провинциальный шулер, а такой политик Возрождения, как Макиавелли, или такой завоеватель, как Цезарь Борджиа¹² «*biondo e bello*», то как знать? Может быть, Иван Карамазов и Ницше признали бы в этой свободе от всех нравственных законов свою собственную свободу «по ту сторону добра и зла», свое сверхчеловеческое «все позволено». И черт-Смердяков опять воскликнул бы: «Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины?» Когда Чичиков говорит: «В другом поступке, по человечеству, могу провиниться, но в подлости никогда», — то он искренен. Добро и зло для него так условны — сравнительно с высшим благом — приобретением, что он иногда сам не сумел бы отличить одно от другого; сам не знает,

где кончается вложенный в него природою инстинкт «хозяина», «приобретателя», и где начинается подлость: средняя подлость и среднее благородство смешиваются в одно «благоприличие», «благопристойность».

«При первом же взгляде на Чичикова видно было, — говорит Гоголь, — благоприличие изумительное». «Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал на свете». Эстетика Чичикова так же, как этика, есть общее достояние современной мещански-денежной культуры. «Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева, *и все бы было благородно...* Он всякие два дня переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздику». Общедоступная полезность, удобство, комфорт, чистота, гигиена — середина в прекрасном так же, как в добром.

Несмотря на весь свой глубокий консерватизм, Чичиков — отчасти и западник. Подобно Хлестакову, он чувствует себя в русском провинциальном захолустье представителем европейского просвещения и прогресса: тут — глубокая связь Чичикова с «петербургским периодом» русской истории, с петровскими преобразованиями. Чичиков тянет на Запад: он как будто предчувствует, что там его сила — его грядущее «царство». «Вот бы куда перебраться, — мечтает он о тамошне, — и граница близко, и *просвещенные люди*. А какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам. Европейское просвещение только усиливает сознание русского барина, «просвещенного дворянина», в его вековой противоположности темному народу. «Хорош, очень хорош! — восклицает однажды Чичиков, заметив, что Петрушка пьян. — Уж вот можно сказать: удивил красотой Европу!» Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: «Какая, однако ж, разница между просвещенным дворянином и грубой лакейской физиономией!»

Русская культура — это повелось еще с Петра — срывает со всемирной только хлестаковские «цветы удовольствия», снимает с нее только лакомую пенку или накипь: плоды высшего

западноевропейского просвещения проникают в Россию вместе с прочим «галантерейным товаром», наравне с «голландскими рубашками» и «особым сортом французского мыла, которое сообщает необыкновенную белизну и свежесть» русской дворянской коже. Из всемирной культуры выбирает Чичиков то, что нужно ему, а все прочее, слишком глубокое и высокое, с такою же гениальной легкостью, как Хлестаков, сводит к двум измерениям, облегчает, сокращает, расплющивает до последней степени плоскости и краткости. Чичиковское рассуждение «о блаженстве двух душ» и чтение Собакевичу послания в стихах Вертера к Шарlotte стоят, в своем роде, хлестаковского «под сенью струй». «Сердце у него было сострадательное, и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша». Таково христианство Чичикова, его любовь к другим. А вот и язычество, его любовь к себе: стоя перед зеркалом, он делает себе множество приятных сюрпризов, подмигивает бровью и губами, делает кое-что даже языком, наконец, слегка треплет себя по подбородку и восклицает с умиленною нежностью: «Ах, ты мордашка эдакой!» Христианство, которое раскошеливается на медный грош «благодетельности», язычество, которое кончается любовью к собственной «мордашке», очень легко соединить в благоразумной и безопасной середине, в «комфортабельном» служении Богу и Мамону вместе.

Бессознательная сущность всякого позитивизма как учения о смысле жизни, от Конфуция до Конта¹³, есть отрицание конца, утверждение бесконечного продолжения человеческого рода, бесконечного «прогресса»: нам хорошо, детям нашим будет лучше, внукам, правнукам еще лучше и так без конца. Не человечество в Боге, но Бог в человечестве. Само человечество есть Бог, и другого Бога нет. Нет личного бессмертия, а есть только бессмертие в человечестве. Каждый век «промышляет», «приобретает» для будущих веков; бесконечное приобретение, накопление *мертвого* капитала — сокровища «мертвых душ», которое никогда не тратится, — вот бессознательная, но и безусловная сущность прогресса. Отсюда — «поклонение предкам» в китайском — поклонение потомкам в европейском позитивизме, отсюда — брак, деторождение, «семья, как религия». «Жена, дети» — вот вечное оправдание всех чудовищных нелепостей буржуазного строя, вечное возражение против религии, которая говорит: «Враги человеку домашние его», — вот «прочное основание», о котором

разбиваются будто бы все крылатые «химеры», все христианские пророчества о конце мира.

«Чичиков, — говорит Гоголь, — очень заботился о своих *потомках*». «Оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству» — вот для чего хотел приобрести! — признается он сам. «Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства». Главный смертный страх Чичикова не за себя самого, а за свой будущий род; за свою семью, за свое «семя». «Пропал бы, — думает он в минуту опасности, — как волдырь на воде, без всякого следа, *не оставивши потомков*». Умереть, не родив, — все равно что совсем не жить, потому что всякая личная жизнь есть «волдырь на воде»; он лопнет — умрет человек — и ничего не останется, кроме «пара». Личная жизнь имеет смысл только в семье, в роде, в народе, в государстве, в человечестве, как жизнь полипа, пчелы, муравья только в полипнике, улье, муравейнике. С этой бессознательной метафизикой Чичикова согласился бы всякий «желтолицый позитивист», ученик Конфуция, и всякий «белолицый китаец» — ученик О. Конта: тут крайний Запад сходится с крайним Востоком, Атлантический океан — с Тихим. «Что я теперь? — думает разоренный Чичиков. — Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь всякому почтенному отцу семейства? как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бремению землю? *И что скажут потом мои дети? “Вот, скажут, отец — скотина: не оставил нам никакого состояния!”*» «Иной, может быть, — замечает Гоголь, — и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который неизвестно почему приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, хватает поспешно все, что к нему поближе». Когда Чичиков воображает себя собственником, владельцем капитала и поместья, тотчас представляется ему и «свежая, белолицая бабенка, и молодое поколение, долженствующее увековечить фамилию Чичиковых: резвунчик-мальчишка и красавица дочка или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, *«чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел как-нибудь тенью или призраком по земле*», — чтобы не было стыдно и перед отечеством». «Мечта моя — воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно», — говорит черт Ивану. Это и есть

главная «позитивная» мечта Чичикова: «бабенки и Чиченки» нужны ему, чтобы «окончательно воплотиться», чтобы «всем было известно», что он «действительно существовал» (как будто иначе для всех и для него самого реальность его сомнительна), а не был только «тенью», «призраком», «волдырем на воде». Существование «позитивиста» Чичикова, лишенное «потомков», лопается таким же мыльным пузырем, как существование «идеалиста» Хлестакова, лишенное фантастической «химеры». Стремление Чичикова к «бабенке и Чиченкам» и есть стремление черта, самого призрачного из призраков, — «к земному реализму». И предрекаемое Великим Инквизитором «царство от мира сего», «миллионы счастливых младенцев» — не что иное, как «Серединное Царство» бесчисленных маленьких позитивистов, всемирных будущих китайцев (здесь духовный «панмонголизм», так пугавший Вл. Соловьева¹⁴), миллионы счастливых «Чиченков», в которых повторяется, как солнце в каплях «Тихого» океана, единый «родоначальник» этого царства, бессмертный «хозяин» мертвых душ, нуменальный Чичиков.

VII

<...>

«Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мертвых душ”, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!”» «Тут-то я понял, — добавляет Гоголь, — в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма». «Пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет».

После «Мертвых душ» получается такое же впечатление, как после «Ревизора»: «*что-то чудовищно-мрачное*», «все это как-то необъяснимо страшно». Даже в детски ясной душе Пушкина этот «страх», сначала заглушённый смехом, мало-помалу разгорается, как злое зарево. Не грусть, не слезы, а именно *страх сквозь смех*.

«Казалось, в этом теле совсем не было души», — замечает Гоголь о Собакевиче. У него — в живом теле мертвая душа. И Манилов, и Ноздрев, и Коробочка, и Плюшкин, и Прокурор «с густыми бровями» — все это в живых телах *«мертвые души»*. Вот отчего так страшно с ними. Это страх смерти, страх живой души, прикасающейся к мертвым. «Ныла душа моя, — признается Гоголь, — когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей». И здесь, так же как в «Ревизоре», надвигается «египетская тьма», «слепая ночь среди белого дня», «ошеломляющий туман», чертово марево, в котором ничего не видно, видны только «свинные рыла» вместо человеческих лиц. И всего ужаснее, что эти уставившиеся на нас «дряхлаые страшилища с печальными лицами», «дети непросвещения, русские уроды», по слову Гоголя, «взяты из нашей же земли», из русской действительности; несмотря на всю свою призрачность, они — «из того же тела, из которого и мы»; они — мы, отраженные в каком-то дьявольском и все-таки правдивом зеркале.

В одной юношеской сказке Гоголя, в «Страшной мести» — «мертвецы грызут мертвеца» — «бледны, бледны, один другого выше, один другого костистее». Среди них «еще один всех выше, всех страшнее, вросший в землю, великий, великий мертвец». Так и здесь, в «Мертвых душах», среди прочих мертвецов «великий, великий мертвец» Чичиков растет, подымается, и реальный человеческий образ его, преломляясь в тумане чертового марева, становится невероятным «страшилищем».

Вокруг Чичикова плетется такая же сплетня, как вокруг Хлестакова. «Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они, наверное, никак не знают, что такое Чичиков: такой ли он человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных». Почтмейстер высказывает гениальную мысль, что Павел Иванович есть не кто иной, как новый Стенька Разин, знаменитый разбойник, капитан Копейкин. Прочие «с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумною догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих предположений было, наконец, одно — что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует России, что, дескать, Россия так велика и обширна... И вот теперь

они, может быть, и выпустили Наполеона с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а впрочем, призадумались, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона». Легенда просачивается из верхних в нижние слои народа: о Чичикове-Наполеоне поговаривать начинают в трактире за чаем купцы, напуганные «предсказанием одного предвещателя, уже три года сидевшего в остроге. Предвещатель пришел неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлою рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром». Хлестаков — генералиссимус, Чичиков — сам Наполеон и даже сам антихрист. И здесь, точно так же как в «Ревизоре», как везде, всегда в России, самая фантастическая русская легенда становится источником самого реального русского действия. «Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он, как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: “Ах, Боже мой!” — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже давно бездушное тело». В стихии народной реальное действие призраков еще ужаснее. «Расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что *народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души*. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили не антихристов... Мужики взбунтовались против помещиков и капитанов-исправников. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам». Позитивист Чичиков оказывается невольным творцом самой «вольнодумной химеры», которая облекается в плоть и кровь, в ужасающую реальность, ибо, как мы знаем, хотя бы из истории пугачевщины, что бунт русских мужиков, даже с позитивной точки зрения, вовсе не «мечта», не «предмет просто — фу, фу!» «*Сия сарынь ничем, кроме жесточи, унята быть не может*», — по страшному слову Петра. Еще несколько таких призраков — и, как выражается один террорист у Достоевского в «Бесах», — застонет земля и взволну-

ется море. Тут уже не только бедные, глупые чиновники, но и сам премудрый князь, «приехавший из Петербурга», кажется, готов обнаружить хлестаковскую «легкость в мыслях», когда, ввиду «землетрясения», обращается к окаменевшим от страха чиновникам с фантастическим воззванием: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю!»

«Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем; это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело». «Так скажут многие читатели и укорят автора, — замечает Гоголь. — Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт... И во всемирной летописи человечества есть много целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми так же смеются потом».

Кто знает, может быть, и нам, «текущему поколению», сам «нечистый дух» шепчет на ухо устами Чичикова: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь». Может быть, и наши гражданские «распекания» Чичикова окажутся не менее хлестаковскими, чем распекания князя-ревизора. «Что ж делать! — мог бы ответить нам Чичиков, как отвечает Муравову. — Сгубило проклятое *незнание меры*, сатана обольстил, *вывел из пределов* разума и *благоразумия человеческого. Преступил, преступил!*» — и, ответив так, оставил бы и нас в дураках, ибо сущность его именно в том, что он и не *приступает* к тому, что можно *преступить* или не преступить, что он слишком хорошо соблюдает «меру», середину во всем, что никогда не выходит он из пределов «благоразумия человеческого» и что не его «обольстил сатана», а он сам — сатана, который всех обольщает. Может быть, и наше христианское милосердие к Чичикову похоже на милосердие нового христианина миллионщика Муравова, напоминающее тот филантропический медный грош, на который раскошеляется и сам Чичиков. Так что в конце концов и наше гражданское правосудие, и наше христианское милосердие —

с него как с гуся вода: обманув не только чиновников, князя, Хлобуева, но и нас, и даже самого Гоголя, снова выйдет Чичиков из тюрьмы оправданный, как ни в чем не бывало, жалея только фрак, разорванный в припадке отчаяния: «Зачем было предаваться так сильно сокрушению?» — и закажет себе новый фрак — из того же самого сукна «наваринского пламени с дымом», и новый будет «точь-в-точь как прежний» — и — «садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня!..» — подобно Хлестакову, он умчится на своей птице-тройке, «как призрак, как воплощенный обман», в неизмеримые пространства будущего. И опять — «горизонт без конца... Русь! Русь!, что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. Что пророчит сей необъятный простор?.. Здесь ли не быть богатырю?..». Чичиков скрылся. Но из необъятного русского простора выступит и русский богатырь, появится снова уже в окончательном ужасающем явлении своем бессмертный хозяин «мертвых душ» — Чичиков. И тогда лишь откроется то, что теперь еще скрыто не только от нас, читателей, но и от самого художника — как страшно это смешное пророчество:

«Чичиков — антихрист».

VIII

«Ну, брат, состряпал ты черта!» — мог бы сказать себе Гоголь, как у него же в «Портрете» товарищ говорит художнику, написавшему портрет старого ростовщика, с лицом, похожим на лицо самого дьявола. «Нарисуй с меня портрет, — говорит ростовщик. — Я, может быть, скоро умру... Но я *не хочу умереть совершенно, я хочу жить*». В художнике, по мере того как он пишет, пробуждается «такое странное отвращение, такая непонятная тоска», что он бросает кисть и отказывается писать. Старик падает ему в ноги, молит кончить портрет, «говоря, что от этого зависит судьба его и существование в мире; что уже он тронул своею кистью его живые черты; что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете; что он через то *не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире*».

Не напоминает ли это страх Чичикова «пропасть, как волдырь на воде, без всякого следа», его желание, «чтобы всем было известно, что он *действительно существовал, а не то, что прошел как-нибудь тенью или призраком по земле*»; не напоминает ли

и слова черта Ивану Карамазову: «Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш *земной реализм*. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения... Я икс в неопределенном уравнении. Я — какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала и даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя... *Моя мечта — это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно*». Художник чувствует ужас от слов ростовщика: «Они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру и бросился опрометью вон из комнаты». В нем произошел переворот: «Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием». Он отрекся от своего прежнего, преступного будто бы искусства — от «земного реализма», покинул мир и постригся в монахи. «Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение», — говорит он в своей исповеди, сильно напоминающей «Авторскую исповедь» Гоголя. «Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем; но скажу только, что я с отвращением писал его: не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и, бездушно заглушив все, быть верным природе (это и есть «земной реализм» или тот «натурализм», которым так восхищались в Гоголе наши критики 60-х годов). Это не было создание искусства, а потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства...»

В судьбе героя этой юношеской повести как будто предсказана, «прообразована» судьба самого Гоголя. Впечатление, которое производит на всех и на самого художника портрет, напоминает впечатление от «Ревизора» и от «Мертвых душ»: «В итоге остается что-то чудовищно-мрачное... все это необъяснимо страшно». Самый веселый из людей, величайший «охотник до смеха», Пушкин вдруг перестает смеяться и становится мрачным: «Боже, как грустна наша Россия!» Художник, когда пишет портрет, испытывает такую «непонятную тягость», такое странное отвлечение, что принужден бросить кисть.

«...“Ревизор” сыгран, — признается Гоголь, — и у меня на душе так смутно, так странно... Мое создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое... Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми!

мне опротивела моя пьеса... Тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска». Точно так же, во время работы над «Мертвыми душами», Гоголь, по собственному признанию, «не мог почувствовать любви к делу». «Напротив, я чувствовал *что-то вроде отращения...* Все выходило у меня натянуто, *насильственно*». Художник в «Портрете», наконец, бежит от собственного создания. Точно так же Гоголь бежит от «Ревизора». «Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего». И от «Мертвых душ», так же как от «Ревизора», Гоголь бегал, скитаясь по всему свету, от Парижа до Иерусалима. Художник не кончил портрета. И «Мертвые души», и «Ревизор» — «без конца». Художник постригся в монахи. И мечта Гоголя во всей второй половине его жизни — совершенное отречение от мира, монашество.

«Стоит передо мною человек, который смеется над всем, что ни есть у нас... Нет, это не осмеяние пороков: это отвратительная насмешка над Россиею», может быть, не только над Россиею, но и над всем человечеством, над всем созданием Божиим, — вот в чем оправдывался, а следовательно, и чего боялся Гоголь. Он видел, что «со смехом шутить нельзя». «То, над чем я смеялся, — говорит он, — становилось печальным»; можно бы прибавить: становилось страшным. Он чувствовал, что самый смех его страшен, что сила этого смеха приподымает какие-то последние покровы, обнажает какую-то последнюю тайну зла. Заглянув слишком прямо в лицо «черта без маски», увидел Гоголь то, что не добро видеть глазам человеческим: «дряхлое страшилище с печальным лицом уставилось ему в очи», и он испугался и, не помня себя от страха, закричал на всю Россию: «Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия... Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

IX

В одной сказке Андерсена, «Снежная Королева», говорится о дьявольском зеркале, которое все предметы отражает «в искаженном, смешном и страшном виде». Слуги дьявола бегали с зеркалом по всей земле, так что скоро не осталось ни одной страны, ни одного

человека, которые бы не отразились в нем. Наконец захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и над самим Творцом. Чем выше подымались они, тем сильнее кривлялось и корчилося зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекошило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы осколков разлетелись по свету — некоторые из них были не больше песчинки; они, попадая людям в глаза, так и оставались там. Человек с таким осколком в глазу начинал видеть все наизусть или замечать во всем одно смешное, потому что каждый осколок сохранял свойство целого зеркала. Некоторым попадали осколки в сердце — и сердце превращалось в кусок льда. Один из них попал в сердце герою сказки, юноше Кая. После многих приключений Кай очутился в чертогах Снежной Королевы. «Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных, один как другой, на диво... Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуи Снежной Королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было куском льда. Он возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады: есть такая игра, которая называется “китайскую головоломкой”... Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слово *Вечность*»*.

Судьба Кая — судьба Гоголя: кажется, и ему попал в глаз и в сердце осколок проклятого зеркала. И его бесконечная возня со своими добродетельными правилами, тоже своего рода «правильными остроконечными льдинами», безнадежное «устройство души своей» — что-то вроде «китайской головоломки». И он, сидя на обледенелых развалинах его же собственным смехом разрушенного мира, складывает и не может сложить из плоских льдин то, что ему особенно хотелось бы: слова «*Вечность*», «*Вечная Любовь*». И когда он утешает себя: «в глубине холодного смеха могут отыскаться искры вечной любви», — то все-таки чувствует, что искры эти не растопят его собственного сердца, которое превратилось в «кусок льда». И когда он успокаивает себя: «Кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете», — он все-таки чувствует, что ему самому никогда

* Перевод Ганзена.

не заплакать этими слезами. Бедный Гоголь, бедный Кай! Оба замерзнут, так и не сложив из льдин слова «Вечная Любовь».

Чтобы вырвать из сердца своего осколок дьявольского зеркала, готов он вырвать и самое сердце; чтобы воскресить мир, готов умертвить себя; чтобы спасти других, готов отдать себя в жертву своему убийственному смеху. Нет, вы не над собой смеетесь, берет он назад свое слово, вы смеетесь только надо мною. «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною... Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке... Если бы оне открылись вдруг и разом перед моими глазами, я бы повесился... Я стал наделять своих героев моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале, для меня самого, он бы точно содрогнулся». Два главных «чудовища», которые всех ближе и всех страшнее Гоголю, которых он потому и преследует с наибольшею злобою, — Хлестаков и Чичиков. «Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности». Всех меньше отделились от него именно эти двое — Хлестаков и Чичиков. «Я размахнулся в моей книге (“Переписка с друзьями”) таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее», — пишет Гоголь Жуковскому (из Неаполя, 6 марта 1847). «Право, — заключает он, — *есть во мне что-то хлестаковское*». Какое страшное значение получает это признание, ежели сопоставить с ним другое — то, что в Хлестакове видел он черта. Чичиковского было в Гоголе, может быть, еще больше, чем хлестаковского. Чичикову точно так же, как Хлестакову, мог бы он сказать то, что Иван Карамазов говорит своему черту: «Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых... Ты — я, сам я, только с другой рожей». Но Гоголь этого не сказал, не увидел или только не хотел, не посмел увидеть в Чичикове своего черта, может быть, именно потому, что Чичиков еще меньше «отделился от него самого и получил самостоятельности», чем Хлестаков. Тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего

Гоголь не одолел в себе самом. Чувствуя, что это во всяком случае не обыкновенный человек, захотел он его сделать человеком великим: «Назначение ваше, Павел Иванович, быть великим человеком», — говорит он ему устами нового христианина Муразова. Спасти Чичикова Гоголю нужно было во что бы то ни стало: ему казалось, что он спасает себя в нем.

Но он его не спас, а только себя погубил вместе с ним. Великое призвание Чичикова было последнею и самую хитрою засадою, последнею и самую соблазнительною маскою, за которою спрятался черт, подлинный хозяин «Мертвых душ», подстерегая Гоголя.

Как Иван Карамазов борется с чертом в своем кошмаре, так и Гоголь — в своем творчестве, тоже своего рода «кошмаре». «Кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло». «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы вволю насмеялся человек над чертом» — вот главное, что было в душе его. Удалось ли это ему? В конце концов, кто над кем посмеялся в творчестве Гоголя — человек над чертом или черт над человеком?

Во всяком случае, вызов был принят, и Гоголь чувствовал, что нельзя ему отказываться от поединка, поздно отступить. Но эта страшная борьба, которая началась в искусстве, в отвлеченном от жизни созерцании, должна была решиться в самой жизни, в реальном действии. Прежде чем одолеть вечное зло во внешнем мире как художник, Гоголь должен был одолеть его в себе самом как человек. Он это понял и действительно перенес борьбу из своего творчества в свою жизнь; в борьбе этой увидел он не только свое художественное призвание, но и «дело жизни», «душевное дело».

Есть, впрочем, уже и в самом созерцании Гоголя начало действия, в самом слове его — начало «дела». Этим он противоположен Пушкину.

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв.

Вечную правду этого пушкинского завета, правду созерцания, Гоголь признает, но вместе с тем видит уже и другую, противоположную, столь же вечную правду действия. Тут воплощается в Гоголе неизбежный, окончательно совершающийся только

именно в нас, в наши дни, переход русской литературы, всего русского духа от искусства к религии, от великого созерцания к великому действию, от слова к делу. «*Нельзя повторять Пушкина*, — говорит Гоголь. — Нет, не Пушкин или кто другой должен стать теперь в образец нам: *другие времена уже пришли...* Другие дела наступают для поэзии. Как во времена младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать *на битву* народы, возбуждая браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую высшую битву — на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу». Пушкин зовет прочь из битвы; Гоголь — в битву. Это и есть, конечно, битва с вечным злом за вечное благо, последняя битва человека с чертом. Этот «браннолюбивый дух» в Гоголе — нечто столь же первозданное, истинное, как мирный дух в Пушкине; тут нет у Гоголя никакой измены самому себе, никакого отречения: он столь же верен природе своей, как и Пушкин. «Во сне и наяву мне грезится Петербург и *служба государству*», — пишет матери из Нежина восемнадцатилетний Гоголь. «Мысль о службе у меня никогда не пропадала, — говорит он в конце жизни. — Я не совращался с своего пути... Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был жизнь, а не что другое». «Жизнь я преследовал в ее *действительности*, а не в мечтах воображения». «Ум мой был всегда склонен к *существенности и к пользе*». «Я чувствовал всегда, что буду участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдется...» «Мне захотелось *служить земле* своей... Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей». «Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит большое *самопожертвование*». «В России теперь на всяком шагу можно сделаться *богатырем*. Всякое звание и место требует богатырства». Но прежде чем вступить, подобно древним русским богатырям, в битву со «страшилищами», Гоголь должен был победить самое страшное из них, жившее в нем самом. «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей... Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и в этом мне поможет Бог».

И здесь, в этой «войне» с самим собою, так же как везде оставаясь верным своей природе, своей самой внутренней сущности, Гоголь не мог не перейти от «воображения» к «действительности», от слова к делу: «Дело мое — душа и прочное дело жизни». Он покидает искусство для искусства; кончается пушкинская «молитва»,

жертвоприношение — начинается «битва», «самопожертвование» Гоголя; исчезает поэт, выступает пророк. И вместе с тем тут начинается трагедия Гоголя — *incipit tragoedia* — борьба с вечным злом — пошлостью — уже не в творческом созерцании, а в религиозном действии, великая борьба человека с чертом.

Я хочу показать в дальнейшем исследовании, чем кончилась для Гоголя эта борьба.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ *Жизнь и Религия*

I

«Из двух начал явился Пушкин», — говорит Гоголь. Одно из них определяет он как «отрешение от земли и существенности», стремление в «область бестелесных видений», т. е. как начало духовности, вернее, бесплотности, христианское или кажущееся, в противоположность язычеству, «христианским». Другое, «прикрепление к земле и к телу», к «осязаемой существенности» — начало плотское, языческое или опять-таки кажущееся доньше, в противоположность христианству, «языческим».

Предвидел ли Гоголь, что, определяя Пушкина, он и самого себя определял, что и он явился из этих же самых «двух начал»? «Никогда не чувствовал себя погруженным в такое спокойное блаженство. О Рим, Рим! О Италия! Что за небо!.. Что за воздух!.. Пью — не напьюсь, гляжу — не нагляжусь... Никогда я не был так весел, так доволен жизнью».

Друзья Гоголя рассказывают, как на вилле Волконской, упиравшейся стеной в старый римский водопровод, который служил ей террасой, «он ложился спиной на аркаду и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью, оставаясь недвижимым целые часы, с воспаленными щеками». «Италия! Она моя!.. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине». Одно из писем помечает он вместо христианского летоисчисления древнеримским: «Год 2588 от основания Города», как будто на одно мгновение пожелал забыть, что Христос родился, как будто 1835 лет христианства вместе с «Россией, Петербургом, снегами, департаментом» только снились ему.

Это, конечно, шутка: но надо знать, чем уже и тогда было для Гоголя христианство, чтобы почувствовать, что значит эта шутка. «Когда я увидел во второй раз Рим, — говорит он именно в этом письме, помеченном “от основания Города”, — мне казалось, что я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но, нет, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет».

Не Вифлеем, не Голгофа, а «мертвая и великолепная Кампанья», земля умерших богов, — предвечная родина Гоголя. Языческую древность он не то что понимает или чувствует — он живет в ней. Так жили в ней, может быть, еще только два человека новой Европы — великие отступники христианства Гёте и Ницше. Рим — *οὐμίη* — значит по-гречески — сила, крепость плоти. Рим есть величайшее последнее всемирное воплощение одного из тех «двух начал», о которых говорит Гоголь по поводу Пушкина; Рим есть самое сильное, самое крепкое «прикрепление» человеческого духа «к земле и к телу», к «осязаемой сущности», перед которою все, что было прежде и после, кажется иногда призрачным, бесплотным, несуществующим. Здесь, в Риме, человек впервые сказал себе, подобно Гоголю: «Я никогда не чувствовал себя погруженным в такое спокойное блаженство», — или подобно гётевскому Прометею: «Я не бог, но равен богам». Сюда, в Рим, каждый из отдельных народов, из отдельных языков принес, как особый камень в общее всемирное здание, особую силу и крепость плоти своей, особую радость жизни своей; все народы, все языки мира со своими богами собрались в объединенное всемирное язычество под купол Пантеона, это земное небо, и ключевым камнем, замкнувшим свод его, была последняя мысль Рима: земля есть небо, человек есть Бог.

Сквозь все «бестелесные видения» христианства Гоголь в глубине своей русской, даже малороссийской, казацкой природы, в перво-зданной стихии своего языка́ и язы́ка, иногда прощупывает это как будто навеки противоположное христианству языческое начало, эту языческую радость жизни, крепость плоти, непоколебимую твердь «земного неба». «Ей-Богу, мы все страшно отделились от наших *первозданных элементов*, — пишет он своему киевскому приятелю Максимовичу из Петербурга, с его “снегами, подлецами и департаментами”, как будто вдруг проснувшись от дурного сна. — Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь как на трин-траву, как всегда

глядел казак (между прочим, и старый казак, “великий язычник”, толстовский дядя Ерощка). Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это черт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудные вещи на свете: это бутылка доброго вина... Откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства... И на другой день двигайся и работай и укрепляйся *железною силою*. Эта «железная» сила в окончательном всемирном сознании есть оóμν — Рим, в бессознательной стихийности — «прикрепление» всякого народа «к земле своей и к телу» своему, к языческой первозданной природе своей. Гоголь, конечно, и здесь только шутит; но в шутке этой скрыта та же самая тоска по предвечной родине, с которою он смотрел на мертвую и великолепную Кампанью.

Из этой первозданной стихии народной вышел смех Гоголя. «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой... Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость подталкивала». Впоследствии, окончательно «удалившись от первозданных элементов своих», он сделал этот смех «смехом сквозь слезы» — жестоким орудием жестокого знания, чем-то вроде анатомического ножа, который режет жизнь, как труп. Но первоначально это был именно только смех для смеха, переливающийся через край избыток жизни, молодости, веселья. Он опьянялся смехом, как вином; грелся в нем от петербургского холода, как в луче родного малороссийского или римского солнца. Во всяком случае, Гоголь — молодой казак, пляшущий в одной рубашке трепака, — столь же реален, столь же значителен, как и Гоголь, — угрюмый монах, пророчествующий о «бестелесных видениях», о загробных «страшилищах».

Отсюда же, из этой первозданной стихии языческой, — и столь особенное, столь чуждое нашему христианскому «ложу нескверному», иногда для нас прямо жуткое, «демоническое» сладострастие Гоголя.

«Я полагаю, что Гоголь *вовсе не знал любви к женщинам*», — замечает биограф. И в самом деле, ничего похожего на влюбленность нельзя отыскать в жизни Гоголя. По свидетельству врача, который ухаживал за ним перед смертью, «сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия». «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать, — пишет юный Гоголь одному своему влюбленному приятелю. — Я потому говорю *благодаря*, что это пламя меня превратило бы в прах в одно мгновение». В повести «Вий» прекрасная панночка-ведьма раз пришла на конюшню, где псарь Микита чистил коня. «Дай, — говорит, — Микита, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую и полную, белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, а с той поры иссохнул весь, как щепка; когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел, совсем сгорел сам собою!» Не повторяется ли здесь, в сказочном образе, личное признание Гоголя: «Это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение», — в прах, в «кучу золы», как бедного пса Микиту. «К спасенью моему, — продолжает Гоголь, — твердая воля отводила меня от желания заглянуть в пропасть». Сила, которая удаляет его от женщин, — не скудость, а напротив, какой-то особый, оргийный суводок чувственности; это странное молчание — не смерть, а чрезмерная полнота, замирающее напряжение, грозная тишина пола. Когда философ Хома Брут скакал с ведьмой, сидевшей у него верхом на плечах, он видел, как там, внизу, в нижней бутке, подземном небе, из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога — выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета... Облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой эластической окружности... Она вся дрожит и смеется в воде... “Что это?” — думал философ, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом; он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». «Дева

светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмеваются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек!»! Здесь предел сладострастия, за который так же страшно переступить, как за предел смерти. «В тонком серебряном тумане мелькали девушки легкие, как тени. Тело их было как будто изваяно из прозрачных облаков и будто светилось насквозь при серебряном месяце» («Майская ночь»). Эта прозрачная белизна женского тела, как наваждение, преследует Гоголя: в «Мертвых душах» на губернском балу рядом с Чичиковым прекрасная молодая девушка «одна только белела и восходила *прозрачную* из мутной и *непрозрачной* толпы», как видение из другого мира, как русалка в темной заглохшей воде. Эти «прозрачные, светящиеся насквозь, как будто изваянные из облаков» тела русалок по природе своей подобны телам древних богов; это — та же самая мистически-реальная одухотворенная плоть, величайшая противоположность «христианской» бесплотной духовности, плоть легкая и все-таки нетленно твердая, как «твердь» небес. Это и есть одно из «двух начал», заключенных в самом Гоголе, — начало плоти.

«Тело одной русалки, — продолжал рассказчик, — не так светилося, как у прочих: *внутри его виднелось что-то черное*». Черное пятно, страшная черная точка есть и в гоголевской «плоти», в первозданной языческой стихии его веселости, его смеха. Это — точка соприкосновения двух начал, двух половин, двух полюсов мира, рождающая беспредельный мистический ужас. Уже, впрочем, и там, в самой Элладе, есть эта черная точка: и там, в тишине самого блаженного, самого ослепительного полдня раздается вдруг потрясающий крик, таинственный зов, «голос Пана», от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе. Гоголю с детства знаком этот крик: «Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного, среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду

и только успокаивался, когда попался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» («Старосветские помещики»).

Этот непонятный «панический» ужас объяснился в тот день, когда родился Христос и умер великий Пан. В конце язычества есть начало христианства; в конце земного — начало небесного, в конце плоти — начало того, что за плотью.

Страшный «таинственный зов» слышится Гоголю и в Пушкине. «Поэта, — говорит Гоголь, — поразил вид Казбека, на верхушке которого увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом.

Далекий, возжеланный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседстве Бога скрыться мне!¹

Вот и другое начало из тех двух, которые видел он в Пушкине. Оно же сказалось и в Гоголе, только с гораздо большею силою, чем в Пушкине. «Я не рожден для треволнений, — пишет Гоголь в 1842 году, накануне своего христианского обращения, — и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Иными словами, это ведь и значит: «Туда б, в заоблачную келью!» В тишине самого солнечного языческого полдня кто-то вдруг «назвал Гоголя по имени», и страшен был этот зов из другого мира — он оказался для него зовом смерти.

II

Из этих-то «двух начал» явился Гоголь. «В Пушкине, — говорит он, — *“середина”*, — конечно, не в смысле посредственности, нечистого смешения, а в смысле чистейшего *соединения*, синтеза двух начал. *“В нем все уравновешено”*, — заключает Гоголь. Равновесие Пушкина нарушено в Гоголе; лад Пушкина становится разладом в Гоголе, единство — раздвоением, согласие — разногласием. Это — одно из величайших нарушений равновесия, которые когда-либо происходили в душе человеческой. Здание дало трещину в главном своде, поколебалось до последних основ своих и упало, и «было падение дома того великое». В этом-то неравновесии двух первоначальных начал — языческого и христианского,

плотского и духовного, реального и мистического — заключается вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная, религиозная судьба Гоголя.

Разлад, дисгармония во внутреннем существе его отражаются и во внешнем, даже телесном облике. При первом взгляде на наружность его удивляет: в ней что-то странное, на других людей непохожее, слишком напряженное, слишком острое и вместе с тем надломленное, больное. «Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее, — говорит очевидец. — Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты». Зоркая и грустная одинокая птица. Самое поверхностное впечатление от наружности Гоголя — тревожное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое: зловещая карикатура; других смешит и сам смешон. «Ведь ты, братец, сам делаешься комическим лицом!» — говорит ему Погодин. «Я именно комик, — соглашается Гоголь, — и вся моя фигура карикатурна». Чем пристальнее всматриваешься в него, тем это смешное становится более жутким, почти страшным, фантастическим. «Таинственный карла», — прозвали его школьные товарищи в Нежине. И Достоевский отметил в нем это нечто «таинственное», фантастическое, когда назвал его «демоном смеха». «Чудак он превеликий!» — восклицает один из его приятелей. «Чудак» — это слишком добродушно и приятельски развязно. Не «чудак», а скорее чудо или чудовище. «Это еще что такое, и откуда это?» — вот первое, что приходит в голову при взгляде на лицо Гоголя среди обыкновенных, хотя бы и самых избранных, самых гениальных, но все же человеческих лиц. «Птица», «карла», «демон», карикатура, призрак, что-то фантастическое, только не человек или, по крайней мере, не совсем человек. «Вот до какой степени *Гоголь для меня не человек*, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь», — то есть чувства естественного страха перед мертвым телом, это пишет С. Т. Аксаков, один из ближайших друзей Гоголя, тотчас после смерти его. Живой Гоголь для Аксакова — «не человек», мертвый — не мертвец. Живой для него таинственнее, призрачнее, чем умерший. И чем ближе подходят к нему люди, тем сильнее чувствуют в нем это страшно далекое, чуждое, удивительное, к чему нельзя привыкнуть и что в иные мгновения внушает самым близким друзьям его непонятную враждебность,

смешанную со страхом и даже с отвращением. Погодин с «дружескою» откровенностью называет Гоголя «отвратительнейшим существом». «Вообще в нем было что-то отталкивающее», — замечает Сергей Аксаков. *«Я не знаю, — заключает он по этому поводу, — любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю — нет; да это и невозможно»*. Шевырев, тоже старый друг и даже отчасти ученик его, видит в нем «неряшество душевное, происходящее от неограниченного самолюбия». Одни обвиняют его в «ханжестве», другие признаются, что считают его «кандидатом в святые отшельники или... в дом умалишенных», и чуть не в присутствии «друга» и «учителя» рассуждают об его «сумасшествии» и о «плутовстве в его сумасшествии». Во всех этих «дружеских» отзывах какая-то беспричинная жестокость. Любящие его вдруг начинают ненавидеть, сами не зная за что, стараясь объяснить эту ненависть личными пороками Гоголя, но едва ли справедливо: ведь несмотря на эти пороки, те же самые люди, которые называют его «плутом» и сумасшедшим, в другие минуты с такою же искренностью считают его пророком, учителем, даже прямо «святым», и «мучеником». С. Т. Аксаков, который писал в 1847 году при жизни его: *«Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости»*, — пишет через пять лет после смерти его: *«Я признаю Гоголя святым, это — истинный мученик христианства»*. В сущности же для Аксакова так и осталось навсегда неразъясненным, что такое Гоголь — «сумасшедший или мученик, плут или святой». Подобные противоречия в отзывах неразрешимы, если не предположить, что они зависят от противоречия в самом Гоголе: «два начала», два существа в нем; наблюдателю является то одно из них, то другое, сообразно с точкою зрения, на которой он стоит, и с меркою, которою он мерит.

Последний год своего пребывания в Нежинском лицее Гоголь посвятил «глубокому обдумыванию будущей должности и нового бытия в деятельном мире; он давал себе слово, что все его «силы будут порываться на то, чтобы означить жизнь одним благодеянием, одной пользою отечества». «Мысль о службе меня никогда не оставляла, — вспоминает он в конце жизни, в «Авторской исповеди». — Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование». Жизнь и смерть Гоголя свидетельствуют о том, какая страшная искренность была в этой

детской мечте его. И вот, однако, в это же самое время, среди глубокого обдумывания «нового бытия», уже стремясь в Петербург на великое служение, он пишет туда же о другой столь же пламенной и заветной мечте своей — о модном фраке и панталонах. «Напиши, пожалуйста, — просит он своего петербургского приятеля, — какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны... Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень хотелось бы себе сделать синий с металлическими пуговицами». Знаменитый фрак Чичикова «наваринского пламени с дымом» не родствен ли этому синему фраку юношеских мечтаний Гоголя? По выпуске из лицея он прежде всех своих товарищей оделся в партикулярное платье. «Как теперь вижу его в светло-коричневом сюртуке, — рассказывает очевидец, — которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка считалась тогда *nes plus ultra* * молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто не нарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку». Это, конечно, ребячество, но оно останется в нем надолго, может быть, навсегда. В Петербурге, поступив в департамент, он вскоре начал упрекать себя за то, что «осмелился откинуть божественные помыслы», — то есть об истинной «службе», служении земле своей, о самоотверженном подвиге. И тут же, среди благородных самообличений, сообщает провинциальному другу, как очень важное петербургское известие: «Галстуков черных не носят; вместо них употребляют синие». Это уже как будто из письма Хлестакова; так и ждешь продолжения: «Прощай, душа Тряпичкин. Скучно, брат, так жить... Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». В заботе человека об одежде сказывается любовь и уважение к своему телу. Байрон и Пушкин хорошо одевались; у них выходило это так же просто и естественно, как и то, что они хорошо писали: во внешнем их изяществе невольно выражались соответствие, гармония между внешним и внутренним. В древней латеранской статуе Софокла складки одежды кажутся столь же гармоничными, как и стихи его трагедий. У Гоголя даже в этой мелочи, в неумении одеваться, обнаруживается основная черта всей его личности — дисгармония, противоречие. Щегольство дурного вкуса. «Одежда его, — говорит очевидец, — представляла резкую противоположность щегольства и неряшества». Зимой 1830 г.,

* Здесь: предел (*лат.*).

когда он узнал, какой модный цвет фраков и галстуков, он вместе с тем до такой степени обносился, что «нижнего белья у него не было ни одной штуки», по собственному признанию. Однажды, несмотря на свою крайнюю зябкость, всю зиму «отхватал в летней шинели». Эти подробности как будто заимствованы из жизнеописания Хлестакова. Но кто знает? Не внушила ли Гоголю одного из глубочайших, гениальнейших его созданий, «Шинели», эта именно хлестаковская, подбитая ветром шинель? Она была ему нужна, нужнее, чем Пушкину изящество петербургского денди, чем Софоклу — красота величавого гиматиона.

В Петербурге сблизился он с Пушкиным. Дружба эта оставила на всей жизни Гоголя неизгладимый след. Он благоговел перед Пушкиным. «Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Ничего не предпринимал я без его совета». «О Пушкин, Пушкин! — вспомнит он впоследствии. — Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни». Но в тогдашних письмах своих хвастает «не этим прекрасным сном», а тем, что книга его понравилась здесь всем, начиная с государыни, и что государыня приказала ему читать в «находящемся в ее ведении пансионе благородных девиц». «Квартира моя на пятом этаже; это здесь не значит ничего: сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив, вверху гораздо чище и здоровее воздух». В действительности он в это время, как сам жалуется по другому поводу, «живет на чердаке». Но хотя, мол, и чердак, а на одном уровне с покоями Зимнего дворца. И это без малейшей иронии, с детской искренностью. «Есть во мне что-то хлестаковское», — опять невольно вспоминается признание Гоголя.

Отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутренняя неустойчивость, неравновесие ставят его в течение всей жизни в самые нелепые и смешные, даже прямо унижительные положения, делают его «комическим» или, вернее, трагикомическим лицом, собственною карикатурой, правда, карикатурой исполинскою, ибо в самом ничтожестве сохраняет он величие своих «первозданных элементов». Такова история с его профессорством. «Он смотрел на науку как на средство для составления карьеры», — замечает биограф. По выражению самого Гоголя — он «отжил кафедру». Приятелю Максимовичу, тоже будущему профессору, советует «работать сплеча, что придется» и с истинно хлестаковскою «легкостью» решает «хватить среднюю историю томиков в восемь или девять, если Бог поможет». И. С. Тургенев, один из слушателей

Гоголя, признает его положение на кафедре прямо комическим и уверяет, будто бы все студенты были убеждены, что он «ничего не смыслит в истории». Лекции начинал он фразами вроде следующей: «Азия была каким-то народовержущим вулканом». Скучал сам и видел, что всем скучно. «Я читаю один... Никто меня не слушает! Хоть бы одно студенческое существо меня понимало». На экзамен пришел с головою, окутанною косынками, представил экзаменовать слушателей декану и ассистентам, а сам молчал все время. «Боится, что Шульгин (другой профессор) собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может»², — объясняли студенты. «Непризнанный взошел я на кафедру и непризнанный схожу с нее!» — с торжественностью заявляет он врагам своим, а друзьям — с циническою откровенностью: «Я расплевался с университетом». И в самом деле, в этой жалкой и смешной фигуре университетского Акакия Акакиевича с подвязанной щекою кто мог признать великого учителя, обладавшего, несмотря на недостаток сведений, гениальными историческими прозрениями?

Противоречие — и в самых простых, первоначальных, родственных чувствах, например, в любви к матери. Любил ли Гоголь мать? Иногда его отношение к ней кажется бессердечным. Она сама нуждается, а он берет у нее деньги и тратит «на франтовство, на разные фраки, сюртучки, галстуки, подтяжки, платочки». Деньги, полученные от матери для передачи в Опекунский совет, оставляет себе без ее ведома и тратит на нелепую заграничную поездку, оправдываясь мнимою болезнью и страстью, от которой будто бы ему нужно бежать из Петербурга. Впоследствии сам называет этот поступок «безрассудным» — выражение, кажется, слишком снисходительное. «Чтобы *отомстить* вам и *рассердить* вас, я написал это», — пишет он матери по другому поводу: это грубо, жестоко. Так — с одной стороны, а с другой — стоит вспомнить, как в самые страшные минуты жизни обращается он к матери с просьбой помолиться за него и верит в чудо ее молитвы, как в свою последнюю святыню и спасенье, чтобы почувствовать, чем для него была мать, и чтобы воздержаться от слишком быстрых, легких приговоров. Некоторые из его обращений к матери напоминают этот ужасный, душу раздирающий вопль, которым кончаются «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Посмотри, как мучат они его!.. Ему нет места на свете! его гонят!.. Матушка, пожалей о своем бедном дитятке». Один из самых строгих судей Гоголя сознается, что не мог бы отрицать в нем «*беспримерной*

доброты» (Отзыв Иордана у Шенрока в «Материалах», III, с. 221). Эта простая человеческая доброта, способность простой и нежной любви сказались в той самоотверженности, с которою он, сам больной, целые дни и ночи напролет ухаживал в Риме за своим умирающим другом, молодым графом Виельгорским³. На вопрос Аксакова, любил ли кто-нибудь Гоголя «исключительно как человека», сумела бы ответить мать его, и притом так, что Аксакову сделалось бы стыдно за свой легкомысленный вопрос. И не только мать, но и А. О. Смирнова, чужая Гоголю, но любившая его, как родного, и другие «жены-мироносицы» этого «мученика».

Какая-то странная бесчувственность и вместе с тем чрезмерная, болезненная, почти безумная чувствительность. Именно в то время, когда в нем все наиболее кипит, пожирается внутренним огнем, он кажется снаружи, по собственному выражению, наиболее «деревяннным, оболваненным, черствым и сухим». «У вас, в ваших мыслях, я остался с черствою физиономией, с скучным выражением лица». «Если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь к вашим услугам». В обществе он всегда выглядел каким-то «букою». «Il má paru gauche, timide et triste», — вот первое впечатление Смирновой. И потом, когда уже под внешней черствою корою открывается внутренний мир его, истинный ад, и заглянувший в этот ад готов жалеть и любить, — в лице Гоголя вдруг мелькает опять что-то совсем неожиданное, противоречивое, что-то беззаботное, «хохлацкое и плутоватое», выражение зоркой птицы, «внимательно-задумчивого аиста», как будто он только с любопытством наблюдает со стороны за тем, что в нем и в других происходит, как будто он к себе еще равнодушнее, еще бесчувственнее, чем к другим, так что в конце концов сострадающий остается в совершенном недоумении.

Противоречие — и в языке его. С одной стороны, как будто безграничная власть над языком: не он ли расплавил алмазно твердый стих Пушкина и перелил его в новые формы? С другой — какая-то детская беспомощность, неумелость, косноязычие. «Боюсь нагрешить против языка», это — вечный страх его. За границей он так отвык от русской речи, что самые простые выражения затрудняли его. «Слог и язык мой у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мною имеет право посмеяться едва начинающий школьник». «Возьмешься за перо — находит столбняк». «Перо в руках моих, как деревянная

колода, между тем как мысли мои состоят из вихря». Величайший реализм, меткость, точность слова: как будто оно не описывает, не изображает предмет, а само становится предметом, новым явлением, новой реальностью. И рядом с этим — фантастическая прозрачность, неимоверные преувеличения, гиперболы, исполинский «громозд»: «Дико, громадно все, — нечаянно определяет он себя в другом, — этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что, кажется, как бы тысячью глазами глядит он». Самое любовное проникновение к действительности: «Ты изумишься, — пишет он одному приятелю в разгаре своего “мистицизма”, — откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек... Я родился быть хозяином». Когда читаешь подробнейшие наставления Гоголя о полевых работах, саде, огороде, о том, как сажать овощи, как поливать их и ухаживать за ними («особенно позаботьтесь, чтоб было лучше для цветной капусты, артишоков и брунколей, которые я очень люблю»), то чувствуешь в этой как будто самой прозаической чичиковской хозяйственности не менее, чем в поэтической любви его к Италии, к древности, один из «первозданных элементов», одно из двух мистических начал его природы — начало земли, «матери сырой земли». «Ум мой всегда был склонен к существенности и к пользе более осязательной», — подводит он итог своей жизни. «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения». Все это опять-таки с одной стороны, а с другой: «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты!», «Из-под самых облаков — да прямо в грязь!»

Так через всю жизнь его, как через великолепное здание, построенное из твердого камня, но с каким-то нарушением основных законов земной механики, земного равновесия, проходит одна длинная, сверху донизу, сначала едва заметная, тонкая, как волосок, но постепенно расширяемая и, наконец, зияющая трещина.

III

Это нарушение равновесия, которое сказывается во всем духовном составе его, от самого малого до самого великого — от щегольства безвкусными галстуками и жилетами до злоупотребления гиперболами, от хлестаковских преувеличений («сам государь занимает комнаты не ниже моих») до исполинских загробных страшилищ, — это же самое нарушение равновесия, эта трещина

сказывается и в его телесном составе, в его болезни. Что такое болезнь Гоголя? В каком отношении находится она к тому особому душевному состоянию, которое, по-видимому, неразрывно связано с нею, к так называемому «мистицизму» Гоголя? «Мистицизм» ли от болезни или болезнь от «мистицизма»? Кажется, и то и другое предположения одинаково неверны. «Мистицизм» — болезнь духа и болезнь тела — вовсе не находится во взаимной причинной связи: обе они суть только следствия какой-то одной, более глубокой, первой причины, чего-то, что за телом и духом, какого-то первоизданного несоответствия, несогласия, опять-таки *неравновесия* между телом и духом.

Трудно решить, когда, собственно, началась болезнь Гоголя. Кажется, он родился с нею точно так же, как Пушкин со своим непобедимым здоровьем. «Гоголь был болезненный ребенок, — вспоминает школьный товарищ его, А. С. Данилевский. — Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло...» Двадцати четырех лет жалуется Гоголь на ощущение «дряхлости»: «Скудельный состав мой часто одолеваем недугом и крайне дряхлеет». Может быть, в детстве и юности причина болезни была по преимуществу физическая, но с годами, несмотря на часто повторяющиеся припадки, организм крепнет, и вместе с тем обнаруживается, что причина болезни отнюдь не только физическая, что особое состояние духа ежели не производит болезнь тела, то, во всяком случае, предшествует ей. Поверхностным наблюдателям кажется даже, что Гоголь — мнимый больной, что он воображает себя или притворяется больным. «Он считал себя неизлечимо больным и готов был советоваться со всеми докторами, хотя по наружности казался свежим и здоровым», — замечает биограф (Шенрок, II, 177). «Он удивил меня тем, — рассказывает С. Т. Аксаков, — что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: “Да чем же вы больны?” Он отвечал неопределенно и сказал, “что причина болезни его находится в кишках”. Из Рима пишут осенью 1840 года: «Гоголь ужасно мнителен... Он ничем не был занят, как только своим желудком, а между тем никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их отпускал иной раз». Гоголь вообще любил поесть: бес чревоугодия искушал его до конца жизни; знакомая ему с детства малороссийская поэзия лакомства отразилась и в ночных закусках «Старосветских по-

мещиков», и в сказочных галушках, которые сами летят в рот, и в не менее сказочных кулебяках Петра Петровича Петуха; эстетическое обжорство сближает «монаха» Гоголя с монахом Рабле⁴. «Он рассказал мне, — пишет поэт Языков из Парижа, — о странностях своей, вероятно мнимой, болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; так же и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами». За несколько недель до смерти Григорий Данилевский нашел его цветущим, полным сил и здоровья. На основании подобных отзывов можно бы прийти к выводу, что Гоголь кривляется и морочит друзей своих. Но это не так: болезнь его, несмотря на свою кажущуюся фантастичность, все-таки вполне реальна — ведь умер же он от нее. Если в значительной мере он болен от мнительности, то и наоборот — может быть, даже еще в большей мере — мнителен от болезни. Вот как он сам описывает обыкновенный ход своих припадков. «Среди совершенного здоровья и душевной ясности, как будто даже от избытка, от чрезмерности этого здоровья, этой грозовой силы жизни, рождается сначала смутное и, по-видимому, беспричинное, неудержимо растущее возбуждение; потом какой-то внезапный страх: словно крик Пана, страшный зов в тишине безоблачного полдня. Потом болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении, ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно...» «Я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетающий в мыслях, превращало в исполина, всякое незначительно приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, такую мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние». «У меня все расстроено внутри, — признается он в 1849 году, года за три до смерти. — Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы». Итак, первое сотрясение, нарушение равновесия происходит не в душе и не в теле, а где-то глубже, в самой глубине существа, — не там ли, где душа и тело еще не два, а одно?

Какое-то разногласие, разлад происходят в первоначальном ладе, согласии души и тела. И эта болезненная зыбь, распространяясь, через душу захватывает тело и оттуда, в обратном движении, отражается снова в душе и все растет, как волна, которая в двойном разбеге своим ударяется то в одну, то в другую преграду. Внезапные страхи сливаются в один длительный «панический» ужас, от которого одно спасение — бежать с того места, где впервые послышался страшный «зов», «голос Пана». И Гоголь действительно бежит: все его бесконечные скитания не что иное, как такие отчаянные бегства от себя самого. Так бежал он из Петербурга за границу, сам не помня, что делает, почти украв у матери деньги, в первый раз ненадолго, затем, во второй, после представления «Ревизора» — уже на много лет. Но и там, на чужбине, не находя себе покоя, он бежит из одного конца Европы в другой, из Европы в Африку, в Азию — от Барселоны до Иерусалима, от Неаполя — и, по крайней мере, в мечтах своих — до Камчатки: «С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, — чем дальше, тем лучше... Мне бы дорога тепер, да дорога в дождь, в слякоть, через леса, через степи, на край света!.. Клянусь, я был бы здоров!» Но только что он останавливается, внутренняя тревога, заглушённая внешним движением, пробуждается вновь, и с еще большею силою, еще явственнее слышится таинственный «зов». «Душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносит болезнь, бьется с ней и выбивается из сил биться...» «Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто повеситься...» «Тягостней всего беспокойство духа, с которым трудней всего воевать, потому что это сражение решительно на воздухе. Изволь управлять воздушным шаром, который мчит первым стремлением ветра! Это не то, что на земле, где есть колеса и весла». Здесь самое определенное физическое ощущение отражает, так сказать, метафизическую причину болезни: нарушение земного равновесия, законы земной механики, отсутствие точки опоры, головокружительный полет над бездною. Такой же вещий символизм и в том ощущении зябкости, которое преследует его целые годы: точно это не простой озноб, а веяние какого-то нездешнего мистического холода. «Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается чем далее, тем более... Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится труднее и труднее пото-

му, что начинают пухнуть ноги, или лучше — жилы на ногах». «Малейший холод на меня оцетинивается бурей». «Я истаиваю не по дням, а по часам... Вы бы ужаснулись, меня увидев...» «У меня иссушение всего тела и цвет мертвечины...» «Я мало чем лучше скелета. Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленой меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было страшно, и при 18 градусах тепла в комнате я не мог ничем согреться». Не напоминает ли это замерзающего Кая в чертогах Снежной Королевы, у которого «лицо посинело, почти почернело от холода», и Данте, который с тех пор, как увидел грешников, замерзших в вечных льдах ада, ничем уже не мог согреться?

В мнительности своей, доходящей до безумия, Гоголь мечется между надеждой на докторов и надеждой на чудо, между лекарствами и молитвами. «Наше выздоровление в руках Божиих, а не в руках докторов». «Молитесь обо мне — от врачей я уже не жду никакой помощи». «Чувствую, что больше всего мне следует надеяться на Святые Места и поклонение гробу Господню, чем на докторов и лечение». И тотчас же, однако, обращается снова к докторам; они его осматривают, ощупывают, выстукивают, выслушивают, ничего не находят, и ему кажется, что они его недостаточно осмотрели, и, не веря одному, бежит он к другому и объявляет наконец латинское словечко, от которого будто бы все зависит: «У меня поражены нервы желудочной области, так называемой системы *nervoso fascioso*». Из одной лечебницы в другую, из Берлина в Дрезден, из Дрездена в Карлсбад, из Карлсбада в Греффенберг. «Я как во сне среди завертываний в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной воды и ничего другого, кажется, и не слышу и не знаю». Но и отсюда, из-под брызжущих кранов, из-под мокрых простынь, опять отчаянный вопль: «Отправьте молебен!.. Молитесь, молитесь обо мне!.. Не переставайте обо мне молиться!» И эта агония длится целые годы, десятки лет: Гоголь как будто и не жил вовсе, а всю жизнь умирал.

«И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком», — вспоминает он об одном из своих припадков. В самом деле, может быть, всего ужаснее в болезни Гоголя — это его совершенное одиночество. Не говоря уже о других, даже такой человек,

как Пушкин, не понял бы нравственной причины его болезни. «Великий меланхолик», — определил он Гоголя и ничего больше не мог бы прибавить. Откуда эта «меланхолия», ежели не только от положения желудка «вверх ногами и от *perverso fiasco*». Пушкин гениальным чутьем своим, вероятно, понял бы, что не только; откуда и к чему она и что значит — это осталось бы для Пушкина такою же загадкою, как для всех прочих друзей Гоголя, например, московских славянофилов, вроде Шевырева и Аксакова, несмотря на весь их ум и талант, все-таки отчасти нравственных Собакевичей, которым казалось иногда, что Гоголь ничем особенным не болен, а просто кривляется, добрых людей морочит. Беда его была в том, что он первый заболел новою, никому на Руси до тех пор неизвестною страшною болезнью, слишком нам теперь, после Л. Толстого и Достоевского, знакомою, — болезнью нашего религиозного *раздвоения*: «Это раздвоение всю жизнь во мне было», — говорит Достоевский; «Я соединил в себе две природы», — говорит Гоголь, которую в то время не только лечить, но и назвать не умели.

Он сознавал безнадежность своего одиночества. «Я почитаюсь загадкою для всех, — пишет он матери в девятнадцать лет, — никто не разгадал меня совершенно». И впоследствии, уже в зрелом возрасте, — одному из друзей своих: «Души моей никто не может знать». По словам товарища, жившего с ним несколько времени в Петербурге, «не было человека скрытнее Гоголя... Он был молчалив в высшей степени». Он был скрытен не потому, что не хотел, а потому, что не мог открыть то, что в нем происходило, — потому, что всякая откровенность не привлекала к нему, а еще более отталкивала людей. «Что ж делать? так уж, видно на роду мне написано быть скрытным». «Говорить откровенно о себе я никогда никак не мог. В словах моих, равно как и в сочинениях, существовала всегда страшная неточность. Почти всяким откровенным словом своим я производил недоразумение и всякий раз раскаивался в том, что раскрывал рот... Мне доставало такта и верной середины в словах». Именно той середины «между двумя началами», соразмерности, *равновесия*, которые он так чувствовал в Пушкине. «Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно... Клянусь, бывают так трудны положения, что их можно уподобить только положению того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают жи-

вого, и не может даже пошевелить пальцем и подать знака, что он жив». Все более и более погружаясь в одиночество, он молчал, пока был в силах молчать; когда же становилось ему слишком страшно, то уже не говорил, не объяснял того, что в нем совершалось, а просто кричал «благим матом», звал к себе на помощь, как утопающий: «Найти бы хоть одну живую душу!..» «И хотя бы одна душа подала голос!.. Хотя бы одна душа заговорила!.. Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души». «Соотечественники! страшно...»

Слава великого писателя не нарушала этого одиночества. С двух противоположных сторон простирались к Гоголю одинаково пламенные, но сомнительные объятия: со стороны петербургских западников с Белинским — и со стороны московских славянофилов с Аксаковым во главе. Каждая сторона надеялась перетянуть к себе Гоголя и воспользоваться им, как оружием, против неприятельского стана: западники против славянофилов, славянофилы против западников. И те и другие видели в нем не его самого, а только себя; ни тем, ни другим не было никакого дела до того, чем он жил и отчего умирал. Одинаково близки, одинаково чужды были ему обе стороны. А между ними волновалась еще более чуждая, уже совсем безликая толпа, так называемая «публика»; и оттуда к нему доносились даже не человеческие голоса, а какие-то стихийные шумы, что-то нечленораздельное. «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» «Ревизору» смеялись до дурноты, но говорили, что пьеса — «неестественный фарс». Нечто в высшей степени искреннее, подлинное, своего рода крик сердца во всей его «святой простоте» выразился в отзыве одной замоскворецкой дамы: «Да, Гоголь всех смешил! Жалко! Употребить всю жизнь и такую краткую на то, чтобы служить обезьяною публике». Это голос из толпы нелитературной; а вот и голоса литераторов или, по крайней мере, людей, прикосновенных к литературе: Владимир Панаев утверждал, что «Гоголю надо запретить писать»⁵, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Лаврушки». Одни из критиков сокрушались, что Гоголь «не хочет возвыситься хоть на столько, чтобы не уступать Поль де Коку», по мнению других, «*Мертвые души*» не следовало брать в руки из опасения замараться». «Я обожаю чистоту, — заявлял Сенковский, — ваши зловонные картины поселяют во мне отвращение». Критик «Русского вестника» Н. А. Полевой, обращаясь к «*Мертвым душам*», восклицает: «Начнем с содержания — какая

бедность!» «От Гоголя много ждали, — замечает с грустью критик “Северной пчелы”, — но он разрешился *ничтожными “Мертвыми душами”*». «Истинно русские люди» кричали с пеной у рта, что Гоголь «враг России». Таков суд «малых сих»; недалеко ушли от них и «великие»; с мнением русских Ферситов — Полевых, Сенковских, Булгариных — почти совпадает и мнение Аполлона, вождя русских муз. «У Гоголя много таланта, — сказал однажды Николай I, — но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». Конечно, граф Орлов только выразил тайную мысль, носившуюся в самых высших кругах, когда осмелился заметить на повеление государя «заняться Гоголем»: «Он еще молод и *ничего особенного не сделал*». Спрашивается, что предстояло бы сделать творцу «Ревизора» и «Мертвых душ», дабы граф Орлов согласился признать, наконец, что сделано нечто «особенное»?

IV

Ежели когда-нибудь Гоголь обманывал себя надеждою на то, что «хоть одна живая душа в России подаст голос» на призыв его, то надежда эта должна была окончательно исчезнуть после появления «*Переписки с друзьями*».

Как бы кто ни судил об этой книге, несомненно, что известными частями ее выразилась подлинная человеческая личность, живое лицо Гоголя — не то, чем желали бы его видеть друзья или недруги, а то, чем он был в действительности. Гоголь давно знал, что он один; но тут только понял вдруг всю глубину своего одиночества. Он ожидал, что его не поймут, но то, что случилось, превзошло все его ожидания: связь великого писателя со временем, историей, обществом, государством, народом оказалась вдруг одним сплошным недоразумением; все разлетелось, лопнуло как мыльный пузырь. Тут произошло нечто в самом деле единственное, ни с чем не сравнимое, кажется, не только в русской, но и во всемирной литературе. Это был не провал литературный: не сам он провалился, а то, на чем он стоял, земля под ним провалилась, как во время землетрясения. И он остался вдруг уже не в одиночестве, а в какой-то страшной пустоте, в каком-то безвоздушном пространстве.

«Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, чем за эти позорные строки, — писал Белинский Гоголю по поводу «*Переписки с дру-*

зьями». — Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете?» Христианство Гоголя называет он «дьяволовым учением». «Христа-то зачем вы примешали тут?» «Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать своей мысли» (это значит — «или вы мерзавец»). «Гимн властям предрежающим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника».

«Это такого рода обвинения, — ответил впоследствии Гоголь Белинскому, — которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца». Но это-то именно «обвинение» или, вернее, клевета — ибо как это иначе назвать? — должна была показать Гоголю, что состояние, в котором писалось умирающим Белинским знаменитое письмо, было просто невменяемым, более похожим на подлинное сумасшествие, чем предполагаемое сумасшествие самого Гоголя. «Залаял собакою, завыл шакалом, зажмурил глаза и весь отдался бешенству», — так выразился сам Белинский о своем тогдашнем состоянии. Но в этом зверином «лае» и «вое» бесноватого (вот когда еще начались «Бесы» Достоевского!) была и какая-то страшная человеческая правда, искренность, которая заслуживала, требовала ответа или, по крайней мере, «заклятья бесов». И Гоголю, казалось бы, слишком легко было ответить не только на то обвинение в подлом угодничестве перед правительством, на которое он и ответил действительно в «Авторской исповеди», но и на все остальные обвинения. Он уже и начал было ответ или «заклятие»: «О, да внесут святые силы мир в вашу страждущую душу!.. О, как сердце мое ноет за вас в эту минуту!.. И отчего у вас такой дух ненависти...» Он указывает Белинскому на его «отважную самонадеянность», «пылкость невоздержанного рыцаря и юноши»: «Опомнитесь, куда вы зашли!.. Какое невежество!.. Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах... Журнальные занятия выветривают душу... вспомните, что вы учились кое-как... Начните учение...» Гоголь мог бы также напомнить Белинскому, как он, плюющий ему в лицо, еще недавно чуть ли не на коленях со слезами, как провинившийся школьник, молил у него прощения: «Я изрыгнул хулу на ваши статьи (в «Арабесках»), — писал Белинский Гоголю из Петербурга от 20 апреля 1842 года, — не понимая, что тем изрыгаю *хулу на Духа*. Они были тогда для меня слишком

просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть... Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости... и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашей судьбою; не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества!..» (Матер. Шенр. IV, 918). Да, Гоголь, казалось бы, мог уничтожить Белинского. Почему же он этого не сделал? Почему разорвал уже набросанную черновую письма? Из жалости к умирающему, из презрения к «бесноватому»? Едва ли. Кажется, в словах Белинского, несмотря на всю их слишком очевидную «дикую нелепость», невменяемость, Гоголь смутно и болезненно почувствовал зернышко какой-то почти невысказанной, но неотразимой, ужасной для него правоты. В чем именно заключалась эта правота, мы увидим впоследствии. Во всяком случае, Белинский достаточно любил Гоголя, чтобы иметь право его ненавидеть: тут око за око, зуб за зуб; удар, нанесенный «отступничеством» Гоголя Белинскому, равен был удару, который он сам наносил теперь своему кумиру. Но уже без всякой любви, а следовательно, и без всякого права на ненависть позднейшие западники продолжали это оплевание Гоголя, как «последнего из мерзавцев». К тому же Белинский действительно «мало учился»: в письме его — первобытное полуазиатское варварство тогдашней русской полемики; но что сказать об европейски просвещенном Тургеневе, который не в пылу борьбы, а много лет спустя с невозмутимым хладнокровием утверждает по поводу *«Переписки с друзьями»*: «Более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона в литературе не существует» (Соч. Турген., посмерт. изд. т. 1, 72). Что сказать о высокомерии Чернышевского, который осаживает Гоголя таким простым и «убийственным» будто бы возражением: «Ты читал не те книги, какие тебе нужно было читать». Что сказать, наконец, об олимпийском спокойствии современных биографов, которые христианскую трагедию Гоголя, этот, по их мнению, «больной бред изувера», «разъедавшую его нравственное существо гангрену» объясняют непониманием слова «прогресс» и сожалеют о том, что он «не нашел в себе силы при счастливом руководительстве (чьем? Белинского или Аксакова, которые оба считали его не то «пророком», не то «мерзавцем») остановиться на скромной задаче преследования сатирой общественных язв». (Все эти мнения высказаны г. Шенроком в его

книге Матер, для биогра. Г. IV, стр. 6, 16, 107, 193). Когда озираешь судьбу Гоголя в русской литературе до наших дней, то невольно вспоминается его собственное горькое слово: «*Терпеть презрение от презренных*».

Письмо Белинского было только первою молнией той грозы, которая должна была разразиться над головою Гоголя: за молнией последовал, как он сам выразился, «вихрь недоразумений», в котором уже все смешалось, все враждебнейшие друг другу стихии слились в одном яростном натиске. «Как же вышло, — спрашивал себя Гоголь с недоумением, — что на меня рассердились все до единого в России? Этого я не могу понять... Восточные, западные, нейтральные — все...» Дошло до того, что в торжестве над «провалившимся» Гоголем прогрессивный Белинский соединился с ретроградным Н. Ф. Павловым⁶, который в «Московских ведомостях» доказывал с изумительною будто бы «ловкостью диалектики», что «сам дьявол напитал слова Гоголя духом неслыханной гордости». В то время, как распространялась молва об его желании пролезть посредством «*Переписки*» в воспитатели к сыну наследника, сам наследник, будущий царь-освободитель, выражал сочувствие цензуре, которая оставила от книги только «оглодыш». Между тем как западник Чаадаев видел «в падении Гоголя следствие печальной ошибки славянофилов», сами славянофилы видели в нем следствие печальной ошибки западников. «Не вы ли, беглец родной земли, — писал Гоголю Константин Аксаков, — жили на западе и вдыхали в себя его тлетворные испарения?.. Книгу вашу считаю полным выражением всего зла, охватившего вас на западе. Вы имели дело с западом, этим воплощенным лгуном, и ложь его проникла в вас». Ожесточение западников до известной степени понятно, но точка зрения славянофилов представляется лишенною уже всякого не только религиозного, нравственного, общественного, но и простого здравого смысла. Ведь ежели не внутреннее ядро (ядра тогда еще никто не раскусил), то, по крайней мере, внешняя оболочка «*Переписки*» была более славянофильской, чем сами славянофилы. Чего же им не доставало? Почему в один голос с «бесноватым» Белинским и они, точно взбесившись, завопили: «В этом человеке бес!» Что тут вообще действовали какие-то «бесы», в этом, кажется, не может быть сомнения; только вопрос — в ком: в заклинаемом или в заклинателях? «Гордость, на эту уду поймал тебя злой дух, принявший вид ангела светла», — предостерегает Погодин. «Все это ложь, дичь и нелепость, и, если будет напечатано, сделает

Гоголя посмешищем всей России», — объявляет С. Т. Аксаков еще до выхода книги. «Вы грубо и жалко ошиблись, — пишет он самому Гоголю. — Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человеку, оскорбляете и Бога и человека». «Вы впали в прелесть... Молю Господа... да будет над вами благодать!» — закликает «беса» некая Свербеева, дама тоже славянофильского кружка⁷. В общей свалке задушен был и ни в чем не повинный друг Пушкина, старик Плетнев: за сочувствие *«Переписке»* объявили его «старым колпаком». Тогда-то снова почувствовал Гоголь то отвращение к самому, так сказать, вкусу и запаху славянофильства, которое он уже высказал однажды убийственно-метким словом: «После их (славянофильских) похвал только плюнешь на Россию».

Запевалою бранного хора С. Т. Аксаковым найдена была окончательная, кажется, и до сей поры не отмененная формула «общественного мнения» о христианстве Гоголя: «Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделала его сумасшедшим». Мысль о сумасшествии Гоголя понравилась всем и всех успокоила: это был самый простой и легкий выход из положения русской мысли, все же несколько затруднительного и даже как будто безвыходного. Гоголь — или сумасшедший, или мертвец. Эту дилемму, поставленную еще Белинским, разрешили славянофилы, присоединив к мысли о сумасшествии Гоголя мысль о «плутовстве в сумасшествии». «Гоголь точно помешался, в этом нет сомнения, — пишет С. Т. Аксаков, — но в самом помешательстве много плутовства. Сумасшедшие бывают плуты и надуватели: это я видел не раз, и помешательство их делается и жалко и гадко». «Над живым телом еще живущего человека, — застонал, наконец, Гоголь в отчаянии, — производилась та страшная анатомия, от которой бросает в пот даже и того, кто одарен сильным сложением». Бедная старушка Н. Н. Шереметева⁸, любившая Николая Васильевича в простоте сердца, до такой степени была напугана всем этим славянофильским «жупелом», что «бегала к Иверской не раз» молиться за своего бедного друга.

Петербургские либералы соперничали с московскими консерваторами в благонамеренной свирепости. Один из школьных товарищей Гоголя в Петербурге не принял его, когда последний заехал к нему по старой памяти вскоре по выходе *«Переписки»* в 1848 году. Говорят, Гоголь, пораженный отказом, не выдержал и зарыдал тут же у двери. Случай этот впоследствии рассказы-

вался будто бы с кафедры студентам, по всей вероятности, не без правоучительной цели — показать молодому поколению, как следует честным людям поступать с такими «мерзавцами», как автор «*Переписки*» (Матер. Шенр. VI, 556). Если это и легенда, то все-таки в образе Гоголя, рыдающего, как падший ангел у врат потерянного рая, у запертой двери честного русского либерала, есть что-то символическое, бросающее свет в самую темную глубь русской общественности. «Как много в человеке бесчеловечья! — мог бы еще раз воскликнуть Гоголь по поводу всей этой либерально-консервативной травли, — как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости и — Боже! — даже в таком человеке, которого свет признает благородным и честным».

Если собрать и оглянуть все вместе, то зрелище представляется единственное: Гоголь объявлен «мерзавцем» за то, что пробирался в воспитатели к великим князьям посредством «*Переписки*»; цензура режет ее, свободолюбивый наследник сочувствует цензуре; «лучшие друзья» распространяют и даже самому Гоголю сообщают слух о том, что он сошел с ума. («Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросами: скажите, пожалуйста, правда это, что Гоголь с ума сошел?» — пишет ему Шевырев); Белинский «лает собакою», «воет шакалом»; старушка Шереметева молится у Иверской, а славянофилы отчитывают от «семи бесов» «тлетворного запада» того, кого сами же скоро признают «мучеником христианства».

В самом деле, что за «вихрь недоразумений»! Как будто не Гоголь, а все русское общество сошло с ума. И в этом сумасшествии что-то фантастическое: не «черт» ли это, которого Гоголь хотел осмеять, плетет вокруг него свою самую смешную и страшную сплетню, мстя смехом за смех?

Одно лишь ясное сознание правоты своей могло спасти Гоголя. *Чувство* правоты у него было, но *сознания* не было. То положение, в которое он поставил себя «*Перепиской*», требовало силы героя, «богатыря», как он сам выражался. А по природе своей он был мученик, но не герой.

И Гоголь не выдержал, ослабел, отступил, запросил пощады. «Ради самого Христа, — молил он, увы, злейшего из врагов-друзей своих, С. Т. Аксакова, — прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия войти в мое положение, потому что душа моя изныла... Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины — этого я и сам не могу

понять. Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог... Тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера и от всего удалиться...» Он сделал худшее, что мог сделать в своем положении: не только усумнился в правоте своей, но и высказал свое сомнение; а вид сомнения в подобных умственных травлях возбуждает такую же ярость в нападающих, как в гончих вид крови на затравленном звере. Гоголь сам называет книгу свою «чудовищной». «Я точно моей книгой показал исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства... А дьявол, который как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было без умысла учительствовать...» «Я не имел духу заглянуть в нее («Переписку»), когда получил ее отпечатанною: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками...» Он видит в книге своей «публичную оплеуху, которую попотчевал себя в виду всего русского царства»: «Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому... Я размахнулся Хлестаковым...» От этого страшного позора утешает он себя еще более страшным утешением: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!..» «Мне также нужна публичная оплеуха, и даже, может быть, более, чем кому-либо другому». Это неимоверно, это переступает все границы литературы, так никто никогда не писал; тут в самом деле — или «мерзавец», или «святой».

Все отреклись от него, и он сам от себя отрекся, пал, как только может пасть человек.

И все-таки он был прав.

V

Главная ошибка его обвинителей заключалась в предположении, будто бы перед изданием «Переписки» произошло с ним что-то особенное, какой-то религиозный переворот, тогда как ничего подобного не происходило в действительности. В «Переписке» он шел тем же путем, которым шел всегда. Мысль религиозная, главная, можно сказать, единственная мысль всей жизни его выразилась здесь яснее, чем в других произведениях, потому что

именно в то время мысль эта перед ним выступила яснее, чем когда-либо.

В 1825 году из Нежина пятнадцатилетний Гоголь пишет матери: «Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего... Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести». «Внутренне я не изменялся никогда, — писал он уже в зрелые годы. — С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнениях главных». «Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду». «Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встречал ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет». Не друзья-враги, вроде славянофилов, а настоящие друзья Гоголя, которые если и не совсем понимали, то все-таки любили его искренно и просто как человека, в «Переписке» узнали подлинную живую личность, живое лицо друга: хорош или дурен, но таким он был в действительности; он сказал о себе правду, по крайней мере ту, которую умел сказать, которую сам знал о себе. «Я вас совершенно узнаю в ваших письмах; для меня в них все просто, понятно, — писала ему графиня Виельгорская. — Мне кажется, что, читая их, я вас слышу, как вы часто с нами говорили... Вы высказали вашу душу, и мы вас поняли». Жуковский, который присутствовал при возникновении «Переписки», прямо говорит: «Когда ты мне читал и то и другое, имея тебя самого перед глазами, я был занят твоей личностью, зная, как все, слышанное мною, было искренним выражением тебя самого». Так думала и А. О. Смирнова, подруга Пушкина; так думал бы, конечно, и сам Пушкин. Он посоветовал однажды Гоголю написать *историю русской критики*. Из этого совета выросла «Переписка», точно так же, как из двух пушкинских анекдотов выросли «Ревизор» и «Мертвые души». Кажется, Пушкин, предсказавший всю деятельность Гоголя, гениальным чутьем своим чуял, что деятельность эта не может вписаться в чисто художественном творчестве, что Гоголь создан не для одних «звуков сладких и молитв», но и для какой-то новой «битвы», для какого-то нового, самому Пушкину неведомого *действия*. «Переписка» и есть первый, еще слабый, потому что слишком ранний, опыт завещанной Пушкиным русской критики — не в старом, узком смысле публицистики, как поняли его славянофилы и западники: Аксаковы, Шевырев, Добролюбов,

Писарев, Чернышевский и даже в значительной мере Белинский, а в смысле новом, *нашем*, как его никто не понимал до нас, критики, как вечного и всемирного религиозного сознания, как неизбежного перехода от поэтического созерцания к религиозному действию — от слова к делу. Надо было реально испытать этот *критический* переход, как мы его испытали за последний полувек; надо было увидеть, как мы видели в Л. Толстом и Достоевском, конец русской литературы, то есть конец чисто художественного, бессознательного пушкинского творчества («звуков сладких и молитв») и вместе с тем начало нового религиозного сознания, новой «битвы», нового действия, для того, чтобы понять все огромное в этом смысле пророческое значение «*Переписки*». В Пушкине была донныне вся Россия; но «нельзя повторять Пушкина», «другие дела начались для поэзии», — вот главная мысль Гоголя — критика. Тут увидел он дальше, чем Достоевский, который все-таки желал повторять Пушкина и не видел за ним ничего. Друг Пушкина, старик Плетнев, высказал однажды поразительную мысль, как будто внушенную ему из-за гроба вещим другом: «*Переписка* есть начало русской литературы. Если заменить здесь слово «литература» словом критика, разумеется не в старом, а в вечном и новом смысле, то есть в смысле *перехода от бессознательного творчества к творческому сознанию*, то это и будет наша мысль. В «*Переписке*» нам слышится именно конец, совершенство, «неповторяемость» Пушкина, то есть конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, — конец поэзии и начало религии.

«Мне ставят в вину, что я говорил о Боге... Что ж делать, если говорится о Боге?.. Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право» (Изд. Кулиша, VI, 373). Вот и до сей поры никем не опровергнуты: неопровержимое право, правота Гоголя. Он первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действительно — так, как еще никто никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского, всемирного спасения. «Дело идет теперь не на шутку», — предостерегает он, и для него это

действительно так. Мудрость ли это или безумие — он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил. В духовном завещании обращается он к «друзьям своим», то есть ко всем русским людям: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Это последние слова Гоголя, обращенные к нам: в них весь смысл его жизни, и он имел право их сказать, потому что заплатил за это право жизнью.

Он почувствовал до смертной боли и смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным. «Церковь, — говорит он, — созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». «Христианин!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане». Христианство не входит в жизнь, и жизнь не входит в христианство: они разошлись и с каждым днем все более расходятся. Христианство оказалось величайшим отрицанием жизни, и жизнь — величайшим отрицанием христианства. Христианство сделалось безжизненным, бесплотным, бездейственным, а жизнь, плоть, действие — нехристианскими. Все современное европейское человечество раздирается этим противоречием. «И непонятною тоскою, — говорит Гоголь, — уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире». Положение России, утверждает Гоголь, ничем не лучше положения Западной Европы. «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе». России угрожают те же «страхи и ужасы», как Европе: «Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помutilись ваши мысли, и вы подумали бы, как бы убежать из России. Но куда бежать? — вот вопрос. Европе пришлось еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит».

И вместе с тем он хотя, повторяю, и не сознает, но зато предчувствует с такою силою, как никто из людей современной Европы, что в христианстве заключена возможность нового соединения, нового синтеза, «возможность примирения тех противоречий,

которые не в силах примирить» человечество, помимо Христа. «Церковь, — говорит он, — может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы»... она «одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши». Здесь Гоголь противопоставляет церковь восточную — западной, впадая, таким образом, в противоречие с самим собою: он ведь только что сказал, что мы вовсе не лучше, а «хуже всех прочих», что и на Востоке так же, как на Западе, церковь не вошла в жизнь. Слишком ясно, что в этом смысле одностороннего аскетизма, отречения от жизни, отрицания жизни, подмены святой плоти бесплотной святостью восточное христианство шло тем же путем, как и западное; можно даже сказать, что тень христианской ночи, монашество, распространялось именно с Востока на Запад, а не с Запада на Восток. Гоголь под «церковью восточную, православную» понимает не прошлую или настоящую историческую, а грядущую, сверхисторическую, мистическую церковь православия *воистину вселенского*. Недаром И. С. Аксаков утверждал, что Гоголь в религиозных исканиях своих стремился разрешить задачу «исполиньски страшную», «которой не разрешили все 1847 лет христианства». Это так: Гоголь действительно хотя и в очень редких, но самых светлых точках религиозного сознания своего противопоставлял свой собственный взгляд на Христа всему историческому христианству, *как западному, так и восточному*. Правда, он делал это еще слишком неясно, бессознательно, слишком часто смешивал православие византийское или русское с действительно вселенским, католическим, церковь настоящую с будущей. Но для нас теперь уже совсем ясно, что только в этой последней действительно заключен, как утверждает Гоголь, «полный и всесторонний — (а не односторонне-монашеский) — взгляд на жизнь, видимо, сбереженный для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах. В ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн». Последняя цель христианства для Гоголя есть всемирное «просвещение». «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме (значит, могли бы мы прибавить, и не только в духе, но и в плоти, не только в небесном, но и в земном) — пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви: «Свет Христов просвещает всех!» Гоголь не противопоставляет христианства про-

свещению, как славянофилы, просвещения — христианству, как западники; он соединяет эти «два начала» в одно. Гоголь с такою силою, как никто из людей современной Европы, почувствовал, что первая и последняя сущность христианства — не мрак, а свет, не отрицание, а утверждение мира, не распятие, а воскресение плоти, не бесплотная святость, а святая плоть. Он первый почувствовал «весеннее дыхание» самого древнего и нового из праздников христианства: «Праздник Светлого Воскресения воспряднуется как следует прежде у нас, нежели у других народов... Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова *Христос воскрес!* и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас. Где носятся так очевидно признаки, там недаром носятся; где будят, там разбудят... И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются оне разом в сердцах многих людей, друг друга не выдавших, живущих в разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, нежели во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресение Христово!» Недаром этими словами кончается «Переписка» Гоголя. Здесь достиг он высшей точки прозрения, которой когда-либо вообще достигал, здесь он почти видит то, что мы уже совсем увидели. Это еще не мысль, не сознание, а только пророческое предчувствие, только смутное чаяние. Но устремление этого чаяния уже совпадает с нашим последним религиозным сознанием: от христианства старого, темного, исключительно монашеского, уединяющего, к христианству новому, светлому, соединяющему, вселенскому, от умерщвления к воскресению плоти, от первого — в немощи и бесславии, ко второму Пришествию — «в силе и славе» — таков путь, общий у Гоголя с нами.

VI

Гоголь говорит: «Из двух начал явился Пушкин», — то есть вся русская, по существу своему, уже вселенская поэзия; он мог бы прибавить: из тех же самых двух начал явится и новое вселенское

христианство; в нем высший синтез, соединение, равновесие этих двух начал — плотского и духовного, человеческого и божеского, земного и небесного.

Но гениальным прозрением своим прикоснувшись к синтезу только в одной точке своего религиозного сознания, Гоголь не устоял на ней. Равновесие, тотчас же нарушившись и здесь, так же как и во всем остальном существе его, нарушалось все более и более — до совершенного хаоса. Искра сознания потухла, и он остался еще в большей тьме. Как могли другие увидеть его, когда он сам себя не видел? Все смешалось опять: новое со старым, вечное, вселенское с временным, византийским или русским; последнее соединение с последним раздвоением. Вместо обещанного синтеза плоти и духа, земли и неба является более неразрешимая, чем когда-либо, антитеза, противоречие.

«Жить в Боге значит уже жить вне самого тела, а это невозможно на земле, ибо тело с нами». Если это так, то и само христианство невозможно. *«Чтобы отселе в ваших глазах, как бы вовсе не существовало вас самих».* *«Позабудьте о себе, как бы вас и не было вовсе на свете».* Не какая-либо часть или свойство плоти, земли, любви к себе, а вся плоть в существе своем, как мистическое начало, противоположно другому началу, как зло — добру, вечное «да» — вечному «нет», как проклятое, бесовское — святому, божескому. Здоровье тела — состояние скотское. *«Заплывет телом душа... Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему»* здоровья и счастья. Или Бог или зверь — но не Богочеловек. Вместо святой плоти — бесплотная святость. Дух есть отрицание плоти, Бог — отрицание мира. Не отрицание для утверждения, а одно голое отрицание. *«Вечная жизнь перед временной — то же, что все перед ничто».* Некогда Гоголь верил, что «есть страсти, которых избрание не от человека... Высшими начертаниями оне ведутся, и есть в них что-то вечное, зовущее, неумолкающее во всю жизнь... Все равно, в мрачном ли образе или пронеслись светлым явлением — одинаково вызваны оне для неведомого человеком блага...» В них «мудрость небес»; в них какая-то божественная «тайна». Когда Гоголь это писал, он понял бы, почему страдания Самого Господа названы «страстями»; понял бы, что здесь не одно совпадение слов. Теперь для него страсть значит грех, бесстрастие — святость. *«Берегитесь всего страстного, — твердит Гоголь, — берегитесь даже в Божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог,*

и в нем только дает узнать Себя». Некогда христианство было для него величайшим деланием, новым героизмом, «богатырством». Теперь становится оно величайшим буддийским «неделанием», отречением от мира, бездейственным созерцанием. «Проповедник *католичества* восточного должен выступать так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего голоса, исходящего из души, в которой *умерли все желания мира*, все бы подвинулось...» Здесь католичество восточное, утреннее сливается с западным, вечерним в один вселенский мрак. «Религия наша и католическая совершенно одно и то же», — говорит сам Гоголь. Недаром Шевырев предостерегал его: «Берегись этой заразы». Старая песнь монашеской скорби и ужаса, звучащая сквозь грозный гул органа в темных средневековых соборах: *Dies irae dies illa*, — заглушает новую песнь, которая должна бы прозвучать сквозь радостный гул «всезвонных колоколов» в солнечно-светлом храме грядущего христианства, во вселенском соборе св. Софии, Премудрости Божией: «Христос воскрес». Не умерщвление для воскресения, а умерщвление без воскресения. Не страх к веселию сердца, а только страх к страху, один бесконечно растущий страх. «*Страшусь всего*», — определяет сам Гоголь источник своего христианства. «Я ни во что теперь не верю и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы». «Оно на краткий миг», — шепчет глухо внятный мне голос... Радостью своей мы можем только оскорбить Бога; не такое время, чтобы кому-либо теперь радоваться». Никакой радости, никакой свободы: «Бог хочет нас *заставить насильно* вспомнить о том, что нужно повести другую жизнь, *насильно* хочет нас спасти». Сущность христианства — не свет, а мрак: «*Свету* далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как *мрачного монастыря*». Но все же последняя цель этих «небесных истин» — обратить весь мир в один «мрачный монастырь». Христианство — это как бы нависший свод могилы, черное, не земное, земляное небо над черною, мертвою землей; христианство — не всемирное «просвещение», а всемирное помрачение; не свет во тьме, а тьма во свете мира. И в бездонной глубине этой тьмы шевелятся исполинские страшилища; «в бездонном провале мертвецы грызут мертвеца»: «Еще один всех выше, всех страшнее, хотел подняться от земли, но не мог, не в силах был этого сделать — так велик вырос он в земле» («*Страшная месть*»). Понимал ли сам Гоголь,

кто этот «выросший в земле великий, великий Мертвец», который хочет и не может воскреснуть, «смертью смерть победить»? Белый цвет новых брачных одежд, обещанных в Апокалипсисе, белый цвет Воскресения, в котором все цвета радуги сливаются в один, снова подменен черным цветом старых безбрачных одежд, монашеским черным цветом смерти, в котором все цвета радуги-жизни уничтожаются. «Христианство не удалось». Жених не пришел. Гасите светильники. Христианство оказалось не огнем, которого никакая вода не погасит, а водою, которая гасит всякий огонь. Погасли светильники. Жених не пришел.

«Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни... Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское», — предостерегал Гоголь других, а себя самого так и не предостерег. Замечательно, что самый глубокий и верный отзыв о *«Переписке»* принадлежит одному из ближайших друзей Пушкина, брату женщины, которую он любил, А. О. Россет, так что и здесь опять, как в отзыве Плетнева, звучит как бы загробный голос самого Пушкина: «Какой господствующий тон книги? Тон болезненной слабости телесной, напуганного воображения, какого-то уныния... Мне кажется, что, *представляя христианство в его настоящем духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратить человека ко Христу. Когда церковь просветлит или высветлит всего насквозь человека — человек этот выразится в противоположной вам форме...* Он покажет примером, что человек может жить в мире Христом и для Христа — без уныния и без страха, ибо “любовь изгоняет страх”. В одном только ошибался Россет, именно в том, что видел причины этой «слабости уныния и страха» в личных свойствах Гоголя, а не в общих глубочайших свойствах всего исторического христианства, всего «католичества восточного», так же как и западного.

Если бы у Гоголя не было вовсе прозрения в новое христианство, он мог бы остановиться и успокоиться на старом. Но слишком стремительно рванулся он вперед. Слишком многое увидел для того, чтобы это прошло для него безнаказанно. Движение назад равно было движению вперед. Не достигнув сверхисторического, он упал ниже, чем историческое христианство. Не найдя будущего в будущем, стал искать его в настоящем и в прошлом. От белого цвета соединения, через черный цвет уединения, монашества, к серому цвету смешения, середины, пошлости; от Иоанна Сына

Громова, через Иоанна Лествичника к московскому царю Ивану, к попу Сильвестру с его «Домостроем»⁹ — таков обратный путь Гоголя, его истинная «реакция». «В идеалах “Домостроя”, — говорит он, — слышна возможность основания гражданского на чистейших законах христианских». Лучше «Домостроя» нечего искать. Он усматривает в нем одно из самых отрадных явлений русского духа: «Мы видели *соединение* Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропчущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть». Кажется, он искренно верил в реальную возможность вернуться современным русским людям к «Домострою»; он даже придумывал способы перестроить всю новую Россию в хозяйственные клетушки, кремлевские терема и часовни по плану благовещенского попа Сильвестра. «Как сделать, — спрашивает Гоголь, — чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно принадлежать Церкви? Словом, как возратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно. Она обольется кровью, изнеможет в напрасных борениях и ничего не успеет. В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор... и так просто... Патриархальностью жизни своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетками и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту... Так же, как на водворение обычаев, *может подействовать генерал-губернатор и на законное водворение Церкви в нынешнюю жизнь русского человека*: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, самими мерами...» «Христос научит вас, — обращается Гоголь к одному из этих таинственных избранников, — будьте отец истинный всем». Так вот кто решит «исполински страшную задачу, которой не решили 1847 лет христианства», вот кто спасет вселенское православие — патриархальные русские генерал-губернаторы, живущие по «Домострою», преобразенные сквозники-дмухановские! Отсюда — оправдание крепостного права как учреждения глубоко народного и христианского. Ежели бы Чичиков сошел с ума и обратился в христианство, он придумал бы что-нибудь подобное. Слишком понятно, что Белинский должен был просто взбеситься, «залаять собакою, завывать шакалом» от такого «христианства». Здесь — бессознательная правота Белинского, которая, во всяком случае, стоит противоположной, столь же бессознательной, правоты Гоголя. В своем простодушном безбожии («русский народ самый атеистический

из всех народов»), в своем антихристианстве Белинский все-таки ближе ко Христу, чем Гоголь в таком «христианстве».

Гора родила мышь. Начал гладью, кончил гадью. От хлестаковской «легкости» — к чичиковской «основательности». «Размахнулся Хлестаковым», обернулся Чичиковым. Вместо громового удара звонкая на всю Россию «оплеуха самому себе». Не столько исполинское «страшилище», сколько исполинская карикатура. Не лик Христов, а как в письме сумасшедшего Кириллова в «Бесах» у Достоевского — какая-то «рожа с высунутым языком», едва ли не рожа самого «черта без маски».

VII

Итак, внутренний провал «Переписки» соответствовал внешнему. Теперь, когда все покинули Гоголя, он остался наедине со своим чертом для последней битвы.

Сознание говорило ему: умертви свое тело; «жить в Боге значит уже жить вне самого тела». «Но это невозможно, пока человек на земле, ибо тело с нами», — возражала сознанию бессознательная стихия, «первозданный элемент», заложенный в Гоголя и казавшийся ему теперь «языческим», «грешною плотью». Чем больше подавлял, умерщвлял он своим «христианским» сознанием эту бессознательную стихию, тем глубже скрывалась она, уходила от света сознания и здесь становилась действительно грешною, темною, демоническою — скрывалась до времени, копилась в тишине, изредка только обнаруживаясь взрывами.

По рассказам очевидцев, после долгих месяцев болезни, уныния, страха, именно в то время, когда этого, казалось, можно было всего менее ожидать, овладевали Гоголем «порывы *неудержимой веселости*. В эти редкие минуты он болтал без умолку, острота следовала за остротой, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на минуту». Он казался вдруг совсем здоровым; так же внезапно исцелялся, как внезапно заболел: точно «припадки» здоровья, чрезмерной силы жизни — обратно подобные припадкам болезни. В изможденном постнике, монахе, «со смиренным видом, с потухнувшими очами и тихим потрясающим гласом, исходящим из души, в которой умерли все желания мира», мелькает прежний Гоголь, «вольный казак», который «глядит на жизнь как на трын-траву» и способен, «встав поутру с постели, хватить в одной рубашке трепака по всей комнате». Целые месяцы смотрит

«букою», твердит уныло: все прах, все грех, страшусь всего, — пока вдруг опять не проснется, «как встрепанный». «Проходя однажды с Анненковым в Риме по глухому переулку, он до того воодушевился, что, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону». В деревне у Смирновой огорчает и пугает всех своей угрюмостью; как вдруг затевает игру с детьми — «выдумывает» луну: «достает пустой круглый ящик, в котором были привезенные из Константинополя лакомства (халва и рахат-лукум), вынимает дно ящика, наклеивает бумагу, намазывает ее маслом, приклеивает огарок» — и луна готова. «Дети вне себя от восторга», подвешивают ящик на дерево и говорят, что это луна для их будущего театра. Дети вообще любят Гоголя больше, чем взрослые. С детьми забывает он, конечно, о своем христианстве, но — кто знает? Не ближе ли он именно в эти минуты ко Христу, чем когда-либо, не ближе ли ко Христу Гоголь пляшущий, чем плачущий? Если бы только он это понял, то, может быть, спасся бы. Но в том-то и дело, что все «1847 лет христианства» стояли между ним и *таким* пониманием Христа. И даже в последние годы жизни, когда он, по-видимому, уже совсем измолился, испостился, вдруг вспомнит детский смех Пушкина, жгучий полдень в Кампанье, родную казацкую песню — и опять все «страшилища» как будто ему «только снились», вот-вот, кажется, проснется, стряхнет их с плеч. Уже перед самым концом, среди смертной тоски и ужаса, по какой-нибудь неожиданной усмешке, «скромной» шутке, коротенькой записочке к матери о посадке деревьев, огородных овощей, любимой им цветной капусты и брунколеи чувствуется, что он все еще не оторвался от земли, любит землю, тянется к «матери сырой земле». Неимоверное здоровье борется в нем с неимоверною болезнью; сила здоровья равна силе болезни, так что до последней минуты неизвестно, что победит.

Эта-то бессознательная «языческая» стихия задерживает христианское сознание Гоголя, не пускает его, тянет назад; сознание его — точно привязанная птица: едва взлетая, тотчас падает на землю и бьется крыльями. Он восстал на плоть свою, и плоть восстала на него. Умерщвляемая, но неумертвимая, она мстит ему страшною мезтью; проклятая становится действительно проклятою и, как иссохшая земля, перестает питать корни всей его христианской «духовности», парализует ее, поражает бессильем, бесплодием,

мертвенной сухостью, черствостью. «Крест тяжчайший всех крестов — крест *черствости* душевной», — стонет Гоголь. «Молись рыданьем и плачем. Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску». Но чем больше он молится, старается плакать, умилять, умягчать себя, тем становится суше и суше, черствее и черствее. Ни слезинки, ни капли небесной росы. Сердце его ожесточается, каменеет в этой мертвящей судороге. «Как растопить мне мою душу холодную, черствую?.. Что это за молитва бескрылая?.. Увы, молиться не легко! Как молиться, если Бог не захочет? Чувствую, что нет сил помолиться самому; силы мои как бы ослабели, сердце черство, малодушна душа...» «Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе...» «Дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица земли...» «Я требую от всех вас помощи, как погибающий брат просит у братьев...» «О, молитесь обо мне... Молитесь, молитесь крепко обо мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться!..» «Малодушнее меня, я думаю, нет в мире человека...» «Часто в душевном бессилии восклицаешь: Боже! где же, наконец, берег всего?»

VIII

Отчаявшись во внутреннем просветлении, он стал надеяться на внешнее чудо: ему казалось, что только в Святой Земле, у Гроба Господня, сойдет на него благодатное умиление, и он помолится там как следует. Целые годы мечтал он об этом путешествии, видел в нем единственную надежду на спасение, собирался и все откладывал, считая себя неготовым; наконец, собрался, но в последнюю минуту, уже в Неаполе, перед тем, чтобы сесть на корабль, опять упал духом, на этот раз окончательно, и вдруг почувствовал, что ему незачем ехать в Иерусалим, что он почти не верит в возможность чуда. «Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере, в заблуждении насчет самого себя. Я думал, что я хоть немного лучше того, что я есмь... я думал, что молитвы мои что-нибудь будут значить у Бога... Теперь думаю, *не будет ли оскорблением святых мой приезд и поклонение мое?*.. В груди моей равнодушно и черство... Вот какая мысль приходит мне на ум, а прежде она не приходила». «Не показывай, пожалуйста, никому этой странички моего письма», — прибавляет он в письме к Шевыреву от 20 ноября 1847 года. И почти тотчас по приезде

в Иерусалим в письме к матери: «Не переставайте молиться обо мне... Теперь более, чем когда-либо, чувствую бессилие моей молитвы...» Жуковскому, вскоре после приобщения у Гроба Господня: «Литургия совершалась на самом Гробовом камне... Я стоял один... Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел... Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из Вертепа...» И уже из Одессы, на возвратном пути: «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только что разве больше увидел черствость свою и свое себялюбие, вот весь результат!.. Была одна минута... но как сметь предаваться какой бы то ни было минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искушение!..» Все замерло в нем, даже болезнь; он чувствовал себя физически почти здоровым: «Я был здоров во все время, больше здоров, чем когда-либо прежде», почти спокойным, но какое это страшное спокойствие, страшная пустота! «У самого Св. Гроба мои молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только взлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость, деревянность...» «Итак, *далеко* от меня то, что я прежде полагал чуть не близко... Я и доселе так же лепечу холодными устами и черствым сердцем ту же самую молитву, которую лепетал и прежде».

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика *черствость* моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе, вместо алтаря, — и при всем том я не стал лучшим, тогда как *все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное*. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? *Видел я как во сне эту Землю...*» «В Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции». Эта унылая серая слякоть в Назарете не напоминала ли Гоголю заключения «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? «Дождь лил ливнем на жидя, накрывшегося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь... Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без

просвету небо!.. Скучно на этом свете, господа!» Что значит эта серая паутина дождя, эта стена сонной серой мглы, точно серого пепла, между христианством Гоголя, может быть, всем нашим христианством и подлинным Христом — «отроком из Назарета»? Не есть ли это стена всех «1847 лет» исторического христианства? Ведь и Гоголь в христианстве своем отрекся от земли, проклял землю; не потому ли и в Святой Земле нашел он землю не святую? Искал на земле только неба и не нашел ни неба, ни земли, а лишь то, что в вечной *середине* между небом и землей — серую холодную мглу, серый стынущий пепел христианства, которое «не удалось», «не выгорело».

Гоголь — в Назарете, стране Благовещения, там, где впервые небо стало земным, земля — небесною, застигнутый серою слякотью, «как бы это случилось в России, на станции», глядящий на «мокрых галок и ворон», на «слезливое без просвета небо» и даже не плачущий, а только зевающий: «Скучно на этом свете!» Не символ ли это всего современного срединного, ни «холодного», ни «горячего», а лишь «теплого», ни «черного», ни «белого», а лишь «серого», ни пляшущего, ни плачущего, а лишь «зевающего» христианства? «И непонятною тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире!»

«Исполинская» скука, оцепенение, сонная зевота, которая страшнее самого безумного отчаяния, все более и более овладевают Гоголем по возвращении в Россию, в три, четыре последние года жизни. «Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять... Не пишется... не хочется говорить ни о чем... Может быть, оттого, что не стало, наконец, ничего любопытного на свете». «Право, скучно, как посмотришь кругом на этом свете», — вырывается у него однажды в разговоре с обыною, должно быть, зевотою. Все чаще жалуется он на «умственную спячку», «недвижность», «непостижимую лень и бездействие сил». «У меня все лениво и сонно... Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость, или временное оцепенение сил? сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?»

«Работа (над «Мертвыми душами») не подвигается; иное слово точно вытягиваешь клещами...» «Не работается, не живется, хотя

покуда это и не видно другим». Это и есть та страшная летаргия, о которой он писал. «Слышу в себе силу и слышу, что она не может двинуться». «Мы видели Гоголя в Москве, — пишет Аксаков осенью 1848 года, — он мало наружно переменялся, но *кажется так, как будто не тот Гоголь*». Снаружи кажется он почти спокойным, более здоровым и крепким, чем когда-либо. Но у него, по собственному признанию, «все расстроено внутри»; это наружное спокойствие и есть зловещий признак того, что вся сила болезни ушла внутрь.

«Как он переменялся, — пишет сестра его в дневнике из родной усадьбы Васильевки, недалеко от знаменитой Диканьки, куда Гоголь приехал гостить весной 1848 года. — Как он переменялся! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный, и равнодушный к нам! Как мне это было больно!» И на следующий день 10 мая: «Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет, и не сидит с нами». 13. — «Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется». 20. — «Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я все плачу». «У нас с братом были маленькие неприятности, но сегодня все забыто: он мне дал крестики из Иерусалима». 25. — «Так было грустно; все что-то тревожит». И уже через два месяца, 22 июля, перед отъездом Гоголя: «Вчера мы все плакали. Тоска ужасная! Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает, но все же я его люблю, как отца». 24. — «Ах как грустно!.. Все плакали...» Вот настроение, которое распространяется, как *темные лучи*, от Гоголя «христианина», того самого Гоголя, который во дни своего «язычества» был источником лучезарнейшего света, смеха и радости; теперь у всех на душе какая-то невыразимая тяжесть, тоска; одни плачут, другие пугаются; а Гоголь только зевает да раздает «крестики из Иерусалима». Любовь матери и сестер, рассказывает биограф, выводила Гоголя из себя, «заставляя его подозревать не христианскую, но земную, распаленную любовь к нему».

«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его. Иисус, увидев Матерь и ученика (Иоанна), тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». (Иоанна XIX, 26–27). Так Сын Человеческий и на кресте любит Мать Свою любовью земною, человеческой; когда Плоть Его ломима и Кровь изливаема, утверждает Он уже не во времени, а в вечности плотскую, кровную связь материнства и сыновности.

Таков первоначальный солнечный белый свет христианства, который сияет и от Креста в ночи Голгофы, устремляясь от Первого ко Второму Пришествию; но когда белый свет христианства делается *темным*, то сыновность и материнство, отечество и братство, все кровное, плотское, все живое умрет без воскресения в этом «темном свете» бесплотной и бескровной монашеской святости.

«Неужели чувство любви к родине у тебя *высохло!*» — спрашивает Гоголя один из его старых малороссийских приятелей. Да, именно «высохло», вымерло в нем все, или, по крайней мере, он хотел бы, чтобы все в нем высохло: в этой-то мертвенной сухости, страшной духовной сухоте и заключается, по мнению его — его ли одного? — христианская святость, «высота небесного бесстрастия».

В одном послеобеденном разговоре с дамами заходит речь о тогдашних изобретениях — стеарине, дагерротипе. «И на что это все надобно? лучше ли от этого люди?» — зевает Гоголь. Все молчат. «Я прежде любил краски, когда очень молод был!» — опять вдруг начинает он, точно спросонок. «Да, вы могли бы быть живописцем, — замечает какая-то дама. — А прежде что любили?» — «А прежде маленьким еще — карты». Дама: «Это означает деятельность духа...» Гоголь: «Такая деятельность духа! Половина России только и делает... Это бездействие духа...» Другая дама: «Николай Васильевич, скоро ли выйдет окончание “Мертвых душ”?» Гоголь, опять зевая: «Я думаю, через год». — «Так они не сожжены?» Гоголь: «Да-а-а... Ведь это только нача-ало было!..» «Он был сонный в этот день от русского обеда», — прибавляет автор записок. В этом разговоре все обыкновенно, но именно своею обыкновенностью — «пошлостью, доходящею почти до фантастического» — страшно, может быть, страшнее всех исполинских «загробных страшилищ». Это продолжение серой слякоти над холмами Назарета; та серая паутина скуки, которая залепила нам глаза и которую мы называем нашим «христианским просвещением».

«Иногда страх врывается в сонную душу», — признается Гоголь. Но это уже не прежний, а какой-то новый страх. В нем зарождается самая «христианская» и вместе с тем самая чудовищная из всех его «христианских» мыслей: мысль о том, что ему нельзя спастись, что все равно, что бы ни делал, как бы ни каялся, — он погиб, что какое-то особое таинственное отвержение тяготеет на нем: «Мне труднее спастись, чем кому другому...» «Страшусь, видя ежеминутно, как хожу опасно...» «*Обо мне нужно молиться более, чем*

обо всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит... *участь моя будет страшнее участи всех прочих людей*». «Молитесь, молитесь обо мне все!» — это однообразный неумолкаемый вопль его в течение многих лет. В духовном завещании Гоголя сказано: «Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились поминки по грешной душе... Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной и чтобы панихиды по мне не прекращались». Это напоминает колдуна в «Страшной мести»: «Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было в душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидал, что там деялось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу». Перед смертью колдун бежал в Киев ко святым местам, в пещеру схимника.

«— Отец, молись! Молись! — закричал он отчаянно. — Молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслышанный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе!

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди: святые буквы на книге налились кровью... *Еще никогда в мире не было такого грешника!*

— Отец! ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладела мною. *Не добро быть человеку с тобою вместе!*»

В этом видении как будто предсказана судьба Гоголя: колдун и схимник — это сам Гоголь и его духовник, отец Матфей Ржевский.

IX

Вопрос о влиянии отца Матфея на Гоголя¹⁰ решается большинством критиков с чрезмерною легкостью: ржевский протоиерей — грубый изувер, которому Гоголь подчинялся будто бы вследствие своей душевной болезни, «мистического бреда». Стоит, однако, несколько пристальнее взглянуть в то, что произошло между этими двумя людьми для того, чтобы не удовлетвориться подобным решением вопроса.

«Что вам сказать о нем (об о. Матфее)? — пишет Гоголь гр. Толстому¹¹. — По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе

знал, и если я спасусь, так это верно вследствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду больше входить в их силу». И самому о. Матфею из Иерусалима: «У Гроба Господня я помянул ваше имя... Молитва моя состояла в изъявлении благодарности Богу за то, что послал мне вас, бесценный друг и Богомолец мой... Примите же еще раз мою благодарность отсюда, из этого места, освященного стопами Того, Кто принес нам искупление наше». Мы знаем, что Гоголь так дорожил письмами духовника, что «носил их всегда при себе»: «Прочитал несколько раз ваше письмо; прочитал потом еще в минуту других расположений душевных. Смысл нам не вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение...» «Ваши два последних письма держу при себе неотлучно. Всякий раз, когда их в тишине перечитываю, вижу новое в них... Не забывайте меня в молитвах ваших. Знаете и сами, как они мне нужны... Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, поселяет в душу надежду...» «Может быть, вам душа моя известна больше, чем мне самому... Вопию о помощи: молитесь, добрая душа!..» «О, как бы мне хотелось открыть вам всю мою “душу”!..» Последнее письмо о. Матфею за две недели до смерти, уже со смертью в душе, Гоголь подписывает: «Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, ваш весь Николай».

Мы знаем, чем был Пушкин для Гоголя. И вот, однако, этот никому не известный, малообразованный и кажется даже, несмотря на уверения Гоголя, не особенно умный священник имеет большее влияние на судьбу его, чем Пушкин. От Пушкина — жизнь, от о. Матфея — смерть Гоголя, и жизнь явно побеждена смертью: о. Матфей оказывается сильнее Пушкина. Какою именно силою? — вот вопрос.

Ему было лет под шестьдесят. Большую часть жизни он провел в деревенской глуши, среди простого народа. «Смолоду наклонен был к подвижнической жизни. Он был невысок ростом, немножко сутуловат; у него были серые, несколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, немножко вьющиеся светло-русые с проседью волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и по внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска или Диева отличал только покроем его одежды... Правда, во время проповеди (он говорил прекрасно, восхищавшим Гоголя живым народным языком), а также при совершении литургии лицо его озарялось и светлело; но это были преходящие последствия вне-

запного восхищения, по миновании коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид». (*Жизнь и труды Погодина* Н. Барсукова, VIII, 564–566). Таков, по свидетельству очевидца, внешний облик о. Матфея. Облику внешнему соответствует внутренний, насколько мы знаем по его собственным письмам и по отражению личности его в представлении Гоголя: во всем существе о. Матфея — не только ничего гениального, поразительного, но и ничего выдающегося, особенного, даже почти ничего личного, ничего своего. Но в этом-то именно отсутствии личного и заключалась главная сила, тайна власти его. О. Матфей для Гоголя не человек, а священник, только, но зато и во всей полноте — священник. Человек со своими личными особенностями как бы окончательно растворился в безличном священстве; оно поглотило в себе человека. О. Матфей для Гоголя чистейший представитель чистейшего православия; он, во всяком случае, не перетолковывал, не окрашивал его в свой цвет, в цвет своей личности; как сквозь совершенно прозрачное белое стекло, сквозь личность или, вернее, безличность о. Матфея можно заглянуть в самую глубину подлинного исторического и народного христианства: таково оно было, таково оно есть не на словах, а на деле, потому что этот деревенский поп был прежде всего человек дела; христианство его — не словесное, не отвлеченное, а в высшей степени действенное, жизненное. Другие говорят о том, что делать; о. Матфей делает то, о чем говорит. Не от себя он говорит и ничего не прибавляет от себя: что принял от церкви, на том и стоит; не идет, как другие, более «современные и просвещенные» истолкователи предания, ни на какие уступки, смягчения, лукавые сделки с лукавым духом времени. Гоголь чувствовал в о. Матфее непоколебимую крепость, каменный кряж православия. Это несколько плоское и серое мужичье лицо ржевского протопопа было лицом всей русской церкви, всего «восточного католичества». В голосе о. Матфея слышался подлинный голос «1847 лет» исторического христианства. О. Матфей весь един; Гоголь весь раздвоен. Как твердый дубовый клин в расщепленное дерево, это единство о. Матфея врезалось в раздвоенное существо Гоголя и раскололо его окончательно. Вникая в подвижнические творения великих отцов¹², Златоуста, Василия, Исаака, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Гоголь имел возможность проверить о. Матфея и убедиться в его совершенном согласии с этими столпами церкви, на коих ведь и доныне вся она зиждется, как

на своем глубоко скрытом, подземном, но все же единственно твердом основании.

В чем же, собственно, главная мысль о. Матфея, его исходная точка? Это — главная мысль всего уединяющего, монашеского, «черного» христианства. Мысль самого Гоголя, по крайней мере, отчасти в его сознании: *«Жить в Боге значит жить вне самого тела»*; святость значит бестелесность, бесплотность; плоть значит грех; дух противопоставляется плоти, как одна абсолютная сущность другой — столь же абсолютной, как начало божеское началу бесовскому, как вечное добро вечному злу — в неразрешимом противоречии. Отсюда вывод: «Не любите мира, ни того, что́ в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Весь мир лежит во зле». Мир есть отрицание Бога; Бог есть отрицание мира — не какой-либо части мира, а мира как целого, как опять-таки абсолютной сущности. То, что было только *одним из двух* начал, *одним из двух* полюсов в учении Христовом, становится началом *единственным*, всепоглощающим, отрицающим другое начало. Такова исходная точка о. Матфея, отправляясь от нее, он только дошел до конца, только сделал из этих первых аскетических посылок последний, страшный, но, в сущности, неизбежный вывод в своем суде над Гоголем; те, у кого черный монашеский цвет христианства, слиняв, сделался не белым, а лишь серым, полусветлым, полусветским, уклонились бы, конечно, от этого слишком страшного вывода; но вот вопрос: подвижники чистого «черного» христианства, древние великие «отцы пустыни», Исаак, Ефрем, Лествичник, не согласились бы с беспощадной логикой о. Матфея, который признал, что не только все «язычество» Гоголя, его художественное творчество, смех, радость жизни, любовь к миру, но и все его «христианство», скорбь, покаяние, отречение от мира, как недостаточные, неполные, не окончательные, слишком светлые, суть ложь, соблазн, то, что на языке аскетизма называется «прелестью», и что все это мнимое будто бы христианство внушено ему не духом, а плотью, не Богом, а дьяволом.

Именно здесь, в отношении к аскетизму о. Матфея, обнаружилась вся религиозная двойственность Гоголя в такой мере, как еще нигде никогда.

С одной стороны, он как будто соглашается с ним во всем, выдает ему себя головой, только молит о последней пощаде, от-

ражает последние, слишком страшные, обвинения в «прелести», хотя уже и в том, как он защищается от этих обвинений, чувствуется его беззащитность: «Нет, не допустит Бог впасть меня в ту *прелесть*, в которую подозревают меня впадшим». «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя (*“Переписка”*), должна произвести вредное действие и что я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом. Книга моя не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною; за то Бог и наказал меня... Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, Он отклонит от меня такую страшную участь если не ради моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые Ему молятся обо мне, — ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву...» «Я, точно, моей опрометчивой книгой показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства... А диавол, который как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было и без умысла учительствовать... Теперь только дивлюсь своей гордости, дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица земли...»

С другой стороны, за этою как будто бесконечною покорностью скрывается бесконечное сопротивление: уступая шаг за шагом, Гоголь все-таки за что-то отчаянно борется с о. Матфеем, что-то отстаивает, чем-то не может или не хочет пожертвовать, хотя бы грозила ему клятва церковная и вечная погибель. Он клонится, гнется, и в самой этой гибкости — почти неодолимая сила упорства. На «черное» христианство о. Матфея возражает он иногда, как будто нечаянно, но все-таки слишком по существу, в слишком глубокой исходной точке, от которой зависит весь уклон христианства от «белого» цвета к «черному», от воскресения к умерщвлению, от святой плоти к бесплотной святости. Он пишет ближайшему другу и духовному сыну о. Матфея, гр. Толстому: «Вы очень *односторонни* и стали недавно так односторонни... Вы почитаете все, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас... Не будьте похожи на тех святошей, которые *желали бы разом уничтожить все, видя во всем одно бесовское*. Разве это не острый нож в сердце о. Матфея? Тут речь идет о театре, о литературе, о Пушкине, о всей плоти мира, «света», который не хочет быть мраком, «мрачным монастырем».

«Среди света, — говорит Гоголь, — есть много такого, что служит незримою ступенью к христианству». И далее, уже самому о. Матфею: «Я подал вам повод думать, что посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли!.. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось желание идти к Богу, а не идти к черту». Чем уступчивее Гоголь, тем требовательнее о. Матфей. Когда же он высказал, наконец, свое последнее, ужасающее, но, в сущности, для него логически неизбежное требование, чтобы Гоголь «бросил имя литератора и пошел в монастырь», тот возразил ему так, что это возражение, несмотря на свою внешнюю почтительность, было для о. Матфея опять как острый нож в сердце: «Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и можно исполнять его, пребывая во всяком звании и во всяком сословии; его можно исполнить также и в звании писателя... Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполнение всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг нас... Словом, *нет поприща и места в мире, на котором мы бы могли уйти от мира...*» «Если писателю дан талант, то, верно, даром и не на то, чтобы обратить его во злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то, верно, даром и не на то, чтобы обратить ее в злое...» «Не знаю, брошу ли я имя литератора, потому что не знаю, *есть ли на это воля Божья*».

Ежели сущность христианства умерщвление плоти, бесплотная духовность (а ведь так именно и была понята эта сущность всеми веками односторонне-аскетического христианства от Исаака Сирина до о. Матфея), то искусство не может быть святым в христианском смысле, потому что всякий художественный образ есть все-таки не бесплотная духовность, а одухотворенная плоть или воплощенный дух. Гоголь не сознавал с ясностью (и в этом недостатке сознания заключается главная причина его гибели), только смутно прозревал в искусстве начало религии, начало святой плоти. Этого-то и не мог понять о. Матфей, который, так же как и все стоявшие за ним века, подменил святую плоть бесплотною святостью.

X

Надо понять всю глубину вопроса, который поднят был здесь между мирянином и священником, между миром и церковью. Нельзя в мире уйти от мира, утверждает Гоголь. Если это так, то одно из двух: или христианство невозможно; или оно вовсе не требует, чтобы мы ушли от мира в том смысле, как этого требовал о. Матфей. «Мир весь лежит во зле» — это одно подлинное начало христианства; но вот и другое, столь же подлинное: Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного принес за него в жертву. Бог не может любить зло; значит, кроме того мира, который «весь лежит во зле», или, по выражению Гоголя, «идет к черту», есть и другой мир, который идет к Богу. Как отделить один из этих двух миров от другого? Есть грешная плоть, но есть и плоть святая, иначе Слово не стало бы плотью. Как отличить плоть грешную от святой? Гоголь опять-таки не сознавал, а лишь смутно предчувствовал эти вопросы, которые не только разрешить, но и услышать не мог о. Матфей.

Гоголь отрекался от «вселенского учительства»; но одно мгновение, одна точка религиозного пути его имеет действительно вселенское значение; действительно, стоял он, по выражению Аксакова, перед «исполинскою задачею, которой не разрешили 1847 лет христианства». Он предчувствовал, что христианство остается донныне словесным, отвлеченным, что оно уходит от мира и не возвращается в мир. Он утверждает, что праздник Светлого Христова Воскресения нигде еще не празднуется как следует, — почему это так, он не мог бы сказать, он только смутно прозревал, что тайна Воскресения Плоти не открывается в «черном» христианстве и что окончательное откровение тайны этой предстоит лишь будущему, «белому», воистину вселенскому христианству. Здесь, может быть, нечаянно, коснулся Гоголь той оси, на которой держится и от колебания которой зависит мировой поворот христианства от Первого ко Второму Пришествию; он сдвигал тот камень, на котором зиждется вся крепость церкви неподвижной. О. Матфей и Гоголь (не в своем сознании, а только в своем пророческом ясновидении) — это неподвижность и движение, предание и пророчество, прошлое и будущее всего христианства — в их неразрешимом противоречии. О. Матфей преступил завет апостольский «*Духа не угашайте*», когда требовал, чтобы Гоголь отрекся от искусства, он «угашал дух», умерщвлял

духовную плоть во имя бесплотной духовности. В анафеме над Гоголем и Пушкиным устами о. Матфея историческое христианство произносило анафему над всею русскою литературою, над всем «просвещением», «светом», «миром», анафему над всею плотью, анафему над всею тварью, еще не избавленной, но «совокупно стенающей об избавлении». Спор о. Матфея с Гоголем был таков, что между обеими сторонами не могло быть никакой середины, никакого примирения: ежели один был в абсолютной истине, то другой — в абсолютной лжи; ежели за одним была «воля Божья», то за другим воля, идущая против Бога. С Богом ли он или против Бога в этом споре — Гоголь не имел силы решить окончательно: не только вся история, но и собственное сознание Гоголя были слишком на стороне о. Матфея. И потому, что Гоголь не имел силы этого решить, — он погиб.

«Не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить». Отречение от литературы для Гоголя было не только самоумерщвление, но и самоубийство. О. Матфей потребовал от него этого самоубийства. Гоголь предвидел, что если бы он не согласился, то о. Матфей сказал бы ему то, что святой схимник говорит колдуну в «Страшной мести»: «Иди, окаянный грешник! не могу о тебе молиться — нет тебе помилования! Еще никогда в мире не было такого грешника!» Этой анафемы, которая носилась над Гоголем всю жизнь и преследовала его в вещих снах, он так боялся, что готов был на все. Голос о. Матфея был для него голосом церкви, всего христианства, самого Христа. Ему предстояло одно из двух — или жить вне церкви отступником, или совсем не жить: он выбрал последнее.

XI

В конце декабря 1851 года, меньше чем за два месяца до смерти, Гоголь писал о. Матфею: «Известие, что вы будете сюда, меня обрадовало. Вы напрасно думали, что приезд ваш на праздник Рождества может быть не впору. А. П. (гр. Толстой) живет так уединенно и таким монастырем, что и я, любящий тоже тишину, переехал к нему на время пребывания моего в Москве. Он просит вас прямо взехать на двор к нему... Комната для вас готова». В это время, несмотря на обычные физические и духовные страдания, заложенная в существе Гоголя огромная жизненная сила все еще борется с болезнью. Несмотря на все отречения от жизни, он все еще любит жизнь, любит землю, тянется к земле, бессознательно,

как дитя к матери. «За посадку дерев тебя очень благодарю, за наливки также, — пишет он сестре. — Как только сделается потеплее, пришлю тебе семян для посева кое-какой огородины». Кажется, он все еще способен к одной из тех шуток, которые три года назад позволял себе неожиданно, среди бесконечных унылых рассуждений о посте, о бесстрастии, об умерщвлении плоти. «Любезный друг, Сергей Тимофеевич, — писал он Аксакову, — имеют к вам сегодня подвернуться к обеду два приятеля: Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычатины на лишнее рыло». Как радуешься, как отдыхаешь на этой шутке! Точно бледный луч солнца в гробовом склепе. Как узнаешь и приветствуешь прежнего Гоголя, милого «язычника», неисправимого обжору, творца «Старосветских помещиков», для которых вся жизнь — еда! Как вдруг начинаешь снова надеяться, что он еще не совсем погиб! И насколько этот кусок грешной бычатины ближе ко Христу, чем та страшная сухая просвира, которую впоследствии запостившийся Гоголь будет глотать, умирая от истощения и упрекая себя в «обжорстве»!

Главное — он все еще пишет, а писать для него значит жить. Мучительно, медленно, но неустанно работает над вторым томом «Мертвых душ». Пока не порвана эта связь с жизнью через искусство, есть еще надежда на спасение. «Второй том, может быть, тебе привезу летом сам, а может быть, и в начале весны». «Я работаю в тишине по-прежнему. Иногда хвораю, иногда же милость Божья дает мне чувствовать свежесть и бодрость, тогда и работа идет свежее». «Если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь...» «Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же, — пишет он Жуковскому за девятнадцать дней до смерти. — Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной».

Таково душевное состояние Гоголя до приезда о. Матфея; через две недели после его отъезда Гоголь умер. Конечно, то, что произошло между ними, было причиной этой смерти.

«Что за странная смерть! — говорит С. Т. Аксаков. — Он умер, мне кажется, только потому, что был убежден, что умирает. Физического расстройство в нем не было». «Это было в субботу на первой неделе поста, — рассказывает другой очевидец. — Увидав

его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним обедал вместе — он был цветущего здоровья, бодр, свеж, крепок, — и теперь предо мною человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный продолжающимся тифом до необыкновенного изнеможения. Глаза его тусклы и впалы, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос слаб, язык трудно шевелится от сухости во рту, выражение лица неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда». «Он чувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его, — именно, что на него *нашел страх смерти*». «Страшная минута смерти!» — повторял Гоголь. Когда однажды о. Матфей обличал его и грозил небесною карою, Гоголь, потрясенный, не владея собою, прервал речь и воскликнул:

«Довольно! оставьте, не могу далее слушать — слишком страшно!»

Должно быть, перед самым отъездом о. Матфея произошла последняя решительная беседа, во время которой Гоголь, по собственному выражению, «оскорбил» своего духовного отца, друга и благодетеля. Как мог он его оскорбить? По всей вероятности, о. Матфей в последний раз потребовал ответа, желает ли он с точностью исполнять аскетические правила святых отцов, уйти от мира, «бросить имя литератора и сделаться монахом». И в последний раз Гоголь возмутился, со смертным ужасом, отчаянием и, может быть, даже злобным ожесточением противостал о. Матфею, возразил, что не должен этого делать, потому что *«не знает, есть ли на то воля Божья»*.

Но только что духовник уехал, Гоголь послал ему вслед письмо, в котором молил о прощении; это последние строки, написанные Гоголем: «6 февраля 1852. Уже написал было к вам одно письмо вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас; но вдруг милость Божья чьими-то молитвами посетила и меня жестокосердного, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко! но об этом что говорить?..

Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, ваш весь *Николай*».

Борьба была кончена, о. Матфей победил. «Благодать», внезапно осенившая Гоголя «чьими-то молитвами», открыла ему, что «воля Божья» требует, чтобы он отрекся от литературы. По всей вероятности, Гоголь в ту минуту, когда писал духовни-

ку, уже решил окончательно сжечь все свои рукописи и больше «не писать — не жить».

«Устав церковный написан для всех, — говорит о. Матфей. — Все обязаны бесприкословно следовать ему: неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас забота? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных...»

Гоголь решил исполнить нечто большее, чем устав церковный. На масленой начал он говеть и поститься: стал есть все меньше и меньше, «хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи. За обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали что-либо другое, отказывался болезнью. Несколько дней питался одною просфорюю. Свое пощение не ограничил пищею, но и сон умерил до чрезмерности: после ночной продолжительной молитвы рано вставал и шел к заутрени. Наконец он так ослаб, что едва держался на ногах. Однажды целый день ничего не хотел есть; когда же после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаяннным, нетерпеливцем и сокрушался сильно».

На первой неделе великого поста, в ночь с понедельника на вторник, за девять дней до смерти, Гоголь велел своему мальчику-слуге раскрыть печную трубу и затопить печку. Собрал все свои рукописи и бросил в огонь. Он «сжег все, что написал», между прочим, и весь, уже почти готовый, второй том «Мертвых душ». «Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка», — замечает Хомяков. Мальчик, глядя на горящие рукописи, возражал ему: «Зачем вы это делаете? может, они пригодятся еще». Но Гоголь его не слушал. А когда почти все сгорело, он долго сидел, задумавшись, потом заплакал, велел позвать гр. Толстого, показал ему догорающие углы бумаги и сказал: «Вот что я сделал! хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а *сжег все. Как лукавый силен! Вот он до чего меня довел*. «Ведь вы можете все припомнить?» — сказал Толстой, желая его утешить. «Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу, у меня все это в голове», — и по-видимому, сделался спокойнее, перестал плакать».

Прежде чем у Гоголя явилась мысль о сожжении рукописей, он завещал, чтобы после смерти его гр. Толстой все его сочинения передал митрополиту Филарету¹³: «Пусть он наложит на них

свою руку; что ему покажется не нужным, пусть зачеркивает немилосердно». Вот главный вопрос, с которым Гоголь обращался к Церкви: он хотел, чтобы она научила его отделять нужное от ненужного, святое от грешного, божеское от бесовского не только в искусстве, но и во всем вообще «мирском», «светском», «плотском», во всей живой плоти мира, во всей твари, еще не избавленной, но «совокупно стенающей об избавлении»; *он хотел, чтобы церковь научила его отделять мир, который «весь лежит во зле», от мира, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Единородного принес за него в жертву.* Увы, на этот вопрос не сумел бы ответить Гоголю не только митрополит Филарет, но и все историческое христианство от Иоанна Лествичника, Исаака Сирина до о. Матфея; оно сделало бы только одно из двух: или, уклоняясь от прямого ответа, изменяя себе, как оно и в действительности слишком часто себе изменяло, согласилось бы только на случайные уступки, только на лукавые сделки с лукавым духом времени, которые не мог и не хотел принять Гоголь и которые делают христианство из черного не белым, а только серым, серо-серым, похожим на осеннюю слякоть над холмами Назарета; или, оставаясь верным себе до конца, повторило бы еще раз устами о. Матфея то, что уже восемнадцать веков повторяло на все лады: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская; все — тлен, все — прах, все — грех. Беги же от мира, брось имя литератора и будь монах». Когда Гоголь, не умея отделить святое от грешного в своем искусстве, в своей плоти, от всего отрекся, проклял все, сжег все, тогда вдруг почувствовал, что исполнил волю не Божью, совершил преступление, кощунство, которому нет имени, — похулил в святой плоти Дух Святой: «Вот что я сделал! хотел было сжечь *некоторые* вещи, а сжег *все*. Как лукавый силен! Вот он до чего меня довел». Кто же, собственно, довел его до этого — лукавый или о. Матфей? В ту минуту, когда Гоголь сидел у печки и смотрел, как буквы тлеющих рукописей рдеют, точно кровью наливаются («смотри, окаянный грешник, святые буквы на книге налились кровью»), в этом страшном кровавом отблеске не предстал ли ему образ о. Матфея, не захотелось ли Гоголю закричать ему, как в «Страшной мести» колдун кричит святому схимнику: «Отец, ты смеешься надо мною!» Не понял ли он, наконец, кто скрывается под этим образом — образом «ангела света»? Не узнал ли под этою последнею, самую соблазнительною маскою того, с кем он боролся

всю жизнь оружием смеха? Борьба была окончена, совершилась «Страшная месть»: не-человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться.

ХII

Мы знаем, что в последние дни преследовали Гоголя какие-то ужасные видения. Дня за два, за три до сожжения рукописей он «поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел к ним, воротился, долго ходил взад и вперед, долго оставался в поле на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и потом, не входя на двор, опять сел на лошадь и возвратился». Что он думал, что он видел там, в поле, ночью, один, или в старинной маленькой церкви Симеона Столпника, где в темноте молился целыми часами? Не проносились ли перед ним снова те видения, которыми в юношеских сказках своих, особенно в самой страшной и вещей из них — «Вие», напроорочил он себе судьбу свою? Герой «Вия», «философ» Хома Брут, тоже остается ночью один в церкви. «Посредине стоял черный гроб; свечи теплились перед темными образами; свет от них освещал только иконостас и слегка средину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость... Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно... “Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было как днем”, — подумал философ. И он принялся прилеплять восковые свечи ко всем карнизам, наоям и образам, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей... Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей — и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз: такая страшная сверкающая красота!»

Эта ведьма, с которою некогда веселый молодой казак летал в «бесовски сладком, томительно-страшном полете», эта мертвая ведьма в черном гробу среди церкви — не языческая ли красота, не сладострастная ли плоть мира, убитая и отпеваемая Гоголем в старой церкви, в церкви Симеона Столпника или о. Матфея?

«Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец... Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в Божью

церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа... Он только крестился да читал как попало молитвы... Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. “Приведите Вяя, ступайте за Виём!..” И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он черней земли. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное».

Железное лицо, земляное тело Вяя — против бесплотных лиц, неземного тела святых, бездушная плотскость — против бесплотной духовности. За умерщвленную плоть мстит мертвая плотскость. Вий — это самое противоположное духу, движению, сознанию; это — тяжесть, косность, мертвость первозданного вещества, материи; это в человеке инстинкт, прикрепляющий его не только к земному и телесному, но и к подземному, до-телесному — к материи — инстинкт слепой и ясновидящий: длинные веки Вяя опущены до земли; он сам не может их поднять; но когда другие подымут их — он видит то, чего никто не видит.

«— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий, и все сонмище кинулось подымать его веки.

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец, и все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он о землю, и тут же вылетел дух из него от страха».

Он «умер от страха» так же, как Гоголь. И святыня Божья не спасла его от дьявольской нечисти; церковь, бедная, ветхая, вся дрожит под напором чудовищ и не может им противиться: они побеждают ее; бесплотная духовность оскверняется бездушной плотскостью — и предсказанная «мерзость запустения становится на месте святом»¹⁴.

Когда наступило утро, «вошедший священник, — рассказывает Гоголь, — остановился при виде такого посрамленья Божьей святыни и не посмел служить... Так навеки и осталась церковь, с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет те-

перь к ней дороги». Она заупустела — и мир не найдет к ней дороги так же, как она сама не нашла дороги в мир.

Каковы бы ни были предсмертные видения Гоголя, таков именно должен был быть их пророческий смысл: его собственная им самим убитая муза, сверкающая страшной красотой ведьма в гробу среди церкви и уставленный на него, убийцу, железный палец Вия.

ХIII

С той самой ночи, как сжег свои рукописи, сделался он еще мрачнее прежнего. Сидел в креслах по целым дням в халате, протянувши ноги на другой стул, перед столом, не пускал к себе почти никого и еще меньше говорил. Замечательны слова, которые он в это время сказал Хомякову: «Надобно же умирать, и я уже готов и умру». По удостоверению врачей, «никаких важных болезненных симптомов с ним не было». Он только продолжал «поститься», или, вернее, морить себя голодом. Духовник, не о. Матфей, а другой, приходский священник, приходил ежедневно; при нем нарочно подавали кушать саго, чернослив. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним. Но Гоголь большею частью отказывался. «В воскресенье священник убедил его принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но после этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уж в последнее время никакой пищи. Когда гр. Толстой для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, весьма близких к нему и которые не могли не занимать его прежде, он возражал с благоговейным изумлением: “Что это вы говорите? можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?” Потом молчал и заставлял графа умолкнуть». «Во вторник являюсь я, — рассказывает очевидец, — и встречаю гр. Толстого, встревоженного через меру. “Что Гоголь?” — “Плохо; лежит. Ступайте к нему. Теперь можно входить”. Я вошел в его комнату; он лежал на широком диване, на боку, с открытыми глазами, отвернувшись к стене; против лица образ Богородицы, в руках четки». Лицо его было «спокойно» или, вернее, бесчувственно: «Он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны». Решен был Главный вопрос: «Жить в Боге значит жить вне тела — надо умереть, и я готов и умру».

Но неужели это «христианская» смерть, та «безболезненная и мирная кончина живота», о которой молится церковь? Все

окружающие смутно чувствовали, что происходит нечто ужасное и *преступное*, что это не смерть, а самоубийство, что нельзя этого так оставить, надо что-то сделать. Но что? Бедный батюшка, который начинает есть чернослив, доказывая Гоголю, что можно жить в Боге и в теле, не так же ли символически страшен со своею бессильною добротою, со своим «полияльным», «сереньким» христианством, как и о. Матфей со своею беспощадною силою и христианством, истинным, «черным»? Но что же все-таки, что же людям было делать?

Когда они увидели, что религия не помогает, то обратились за помощью к науке. Из рук священников Гоголь попадает в руки докторов, из бесплотной духовности — в бездушную плотскость, из ветхого идеализма в современный позитивизм. С точно таким же насилием и грубостью, как одни спасали душу Гоголя, не заботясь о теле его, другие начинают спасать тело его, не заботясь о душе. От неразумного бога — к безбожному разуму.

Врачи собрались для консилиума. Поставлен был вопрос: «Оставить больного без пособий или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Решили: «Да, надобно его кормить *насильно*». «Пошли осматривать больного; стали его спрашивать. Гоголь или не отвечал, или отвечал коротко: “Нет”, не открывая глаз; наконец проговорил с напряжением: “Не тревожьте меня, ради Бога!” Стали давить живот. Он был, как доска, вообще без содержимого, мягкий, вялый; позвоночник через него ощущался легко. Гоголь закричал, застонал. Доктора предписали пиявки и холодное обливание головы в теплой ванне». Нашли также успокоительное латинское название болезни: *gastroenteritis ex inanitione*. «Когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно. Когда ставили пиявки, он повторял: “Не надо!” Потом, когда они уже были поставлены, твердил: “Снимите пиявки, поднимите от рта пиявки!” Его руку держали с силою, чтобы он до них не касался». Доктора велели поставить, кроме пиявок, горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и давать внутрь отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались с ним, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Приставали к нему, мяли, ворочали, поливали на голову какой-то едкий спирт, и больной от этого стонал; спрашивали, продолжая поливать: “Что болит, Николай Васильевич? Говорите же!” Но тот

стонал и не отвечал». За несколько часов до смерти, когда он уже был почти в агонии, ему «обкладывали все тело горячим хлебом, причем опять возобновился стон и пронзительный крик».

Какое-то фантастическое безобразие! Мы видели, впрочем, что во всей личности, в жизни Гоголя иногда мелькает это фантастическое, исполински карикатурное, самое смешное в самом страшном; и вот это же повторяется в смерти. Тут как будто в последний раз смеется черт над человеком, нарочно в самом унижительном положении тела и духа тащит свою жертву. Доктора должны были казаться Гоголю в предсмертном бреду его чем-то вроде той нечисти, которая задушила Хому Брута в оскверненной церкви. «Горьким словом моим посмеюся»¹⁵, — эти слова пророка Иеремии начертаны на гробовом камне Гоголя. Увы, теперь мы знаем, кто над кем посмеялся.

Часу в одиннадцатом ночи умирающий Гоголь закричал громко: «Лестницу! поскорее, давай лестницу!..» Это были последние слова его. Почти те же слова о лестнице сказал перед смертью великий русский подвижник св. Тихон Задонский. Гоголь много думал о таинственных ступенях, о духовной «лестнице» другого подвижника, Иоанна Лествичника. В последней главе «Переписки», «Светлое Воскресение», Гоголь также говорил о лестнице: «Бог весть, может быть, за одно это желание (любви воскрешающей) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней».

XIV

Все мы знаем лицо мертвого Гоголя — нечеловечески странное, белое, тонкое, острое-острое, как слишком отточенное лезвие; тут как будто в самой неподвижности — движение, стремление, полет бесконечный: теперь ему уже не надо «лестницы» — он летит. И ни одной тени того «черного христианства», которым пугал его о. Матфей в сияющей белизне этого лица: это «белый» свет Христа Грядущего — не смерть, а Светлое Воскресение.

И все-таки для нас, живых, какая загадка в этом лице! Мы не только ее не разгадали, но и не задумались над нею. Закрыв глаза, чтобы не видеть, прошли мимо.

«Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование». И действительно, в самоумерщвлении Гоголя совершилось «великое самопожертвование» за всех

нас — за русское общество, за русскую церковь. Но мы не приняли и не поняли этой жертвы. В нашем движении вперед, в нашем «прогессе», не останавливаясь, даже не оглядываясь, мы перешагнули через эту жертву — мертвое тело Гоголя. «Слышно страшное в судьбе наших поэтов», — говорит он о гибели других, но с еще большим правом можно бы это сказать об его собственной гибели. «И никого это не поразило, даже не содрогнулось ветренное племя!» Понятно, впрочем, и отчасти даже извинительно отношение русского общества к христианству Гоголя: тут ведь вся жизнь, вся плоть мира защищала себя бессознательно от величайшего самоумерщвления, самоубийства — от анафемы о. Матфея. Гораздо менее понятно отношение церкви к Гоголю, если вообще тут было какое-либо отношение, так как, собственно говоря, церковь не приняла и не отвергла, она просто не заметила Гоголя, то есть не заметила, может быть, самого главного, что произошло за последние два века ее существования.

По поводу «*Переписки*» митрополит Филарет сказал: «Хотя Гоголь во многом заблуждается, но надо радоваться его христианскому направлению». Узнав о последней болезни и об упорном посте Гоголя, Филарет «прослезился и с горестью сообщил мысль, что на него надо было действовать иначе: следовало убеждать, что спасение не в посте, а в послушании». Ежели следовало действовать, то почему же он и не действовал. Мы ведь знаем, что Гоголь к Филарету обращался за помощью. Где же был пастырь, когда волк похищал овцу? И что такое значит: «Спасение не в посте, а в послушании». Сожжение рукописей и пост Гоголя — не от чрезмерного ли послушания о. Матфею, не от послушания ли даже до смерти? Как же еще больше слушаться? Знал ли сам Филарет, чему он радуется по поводу «*Переписки*» и над чем плачет по поводу смерти Гоголя? Если бы знал, то не мог бы не почувствовать некоторой ответственности, не преминул бы высказаться с большей определенностью о тех «заблуждениях», которые обратили слишком раннюю радость его о Гоголе в слишком позднюю скорбь. И неужели, неужели же для утоления этой скорби верховный пастырь церкви не нашел в себе ничего, кроме слез, может быть, и добрых, но столь же бесполезных, беспомощных, как тот чернослив, который ел перед умирающим Гоголем приходский батюшка? Ежели кровь жертвы падет на чью-нибудь голову, то вода этих слез не смоет крови. С большей определенностью по поводу «*Переписки*» высказался знаменитый Иннокентий, архиепископ Херсонский¹⁶:

«Гоголя читал... Он просил отвечать... Но что писать?.. Что почувствовал о. Матфей, узнав о смерти Гоголя? прослезился ли он так же, как Филарет, или остался невозмутимым на высоте своего “небесного бесстрастия”? Радуюсь перемене с ним, только прошу его не *пародировать набожность*: она любит внутреннюю клеть... Голос его нужен; но если он будет *неумерен*, то молодежь поднимет его на смех, и плода не будет». «Неумерен» — это значит слишком «черен» или слишком «бел»; умеренное христианство — не «черное» и не «белое», а серое; христианство — и нашим и вашим, в котором и волки сыты, и овцы целы; с одной стороны, забота о «внутренней клетке», с другой — о смешливой русской молодежи. Не имел ли, однако, основания Гоголь предпочесть, может быть, и «неумеренное», но зато подлинное «черное» христианство о. Матфея этому «серому», слишком умеренному?

С еще большею определенностью высказался преосвященный Григорий, епископ Калужский. «Однажды за обедом в одном высокопоставленном семействе разговор зашел о Гоголе и коснулся “*Переписки*”. Споры были большие; кто pro, кто contra. Кто-то выразился: “Читая эту переписку, удивляешься тому, что Гоголь даже богослов”». На это преосвященный Григорий¹⁷, со свойственным ему добродушием и голосом, полным как бы сожаления, сказал: «Э, полноте, какой он богослов! *Он просто сбившийся с истинного пути пустослов!*»

Итак, не одни светские люди отнеслись к христианству Гоголя с чичиковскою вескостью или хлестаковскою «легкостью в мыслях».

В лице Гоголя весь русский «свет», все русское «просвещение» обратилось к церкви с вопросом, от которого зависит будущее не только этого «просвещения», но и всего вообще христианства. Церковь на вопрос этот ответила только проклятьем, слезами и шуткой.

«Знаю, — говорит Гоголь, — что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил, как следует, своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие, и говорю это даром; видит Бог, говорю даром!» Ежели предсказание это исполнится, то те, кому придется давать ответ за Гоголя, уже не отделаются ни проклятьями, ни слезами, ни шутками.

«Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощении всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасении Русской земли», — писал о. Матфею Гоголь перед отъездом в Иерусалим.

Он сочинил и послал друзьям своим особую молитву, которую просил их помолиться за него: «Исправи молитву и дай ему силу помолиться у Гроба Святого о кровных своих, о всех людях земли нашей, о ее мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и воцарении в ней Твоего царствия, Боже! И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением, возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремление сердец к прославлению святого имени Твоего!» Об этой молитве о. Матфей мог бы сказать только то, что он действительно говорил Гоголю, если не этими словами, то в этом духе: молитва твоя внушена не христианским смирением, а сатанинской гордостью; ты впал в *прелесть*. Прежде, чем думать о спасении России, подумай о собственном твоём спасении, окаянный грешник!

Почему же, однако, теперь, через полвека, так хочется, чтобы не праведный о. Матфей, уклончивый Филарет, умеренный Иннокентий, богословный Григорий, а грешный, непреклонный, неумеренный, небогословный Гоголь помолился именно этою новою молитвою о нашем спасении, о спасении России у Престола Господня? Почему так верится, что молитва эта более чем какая-либо другая будет услышана?

«Будьте не мертвые, живые души», — это последний завет Гоголя всем нам, не только русскому обществу, но и русской Церкви. Что же нам делать, чтобы исполнить этот завет? Одни говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа. Другие: нельзя быть христианином, не отрекшись от жизни. Или жизнь без Христа, или христианство без жизни. Мы не можем принять ни того, ни другого. Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать? Гоголю на вопрос этот Церковь ничего не ответила. Может быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются.

Пусть же Церковь ответит. Мы спрашиваем.

